

❖ ЛЕДИ С ТОГО СВЕТА ❖

ЛЕДИ НЕ РАЗВАЛИВАЮТСЯ



❖ Григорий Павленко ❖

Григорий Павленко

Леди не разваливаются

«Автор»

2026

Павленко Г.

Леди не разваливаются / Г. Павленко — «Автор», 2026

Леди Катарина Тэрн легла спать за неделю до свадьбы, а проснулась в гробу. В основном, что для леди само по себе оскорбление. Рядом сидел Умбер, дворецкий, с лицом, по которому было ясно, что он думает о таком обращении с госпожой. Старый некромант объяснил, что она не дышит, и попросил лечь обратно. Она отказала вежливо: её ждут в Керре, при государе, и второй раз за утро она не ляжет. Некромант хотел было что-то возразить, но умер посреди фразы, и она похоронила его в своей могиле: та была свободна. С тех пор она идёт домой: с его книгой, с дворецким, который не одобряет всё, что недостойно дома Тэрн, и с курицей, которую дали за упокоение. Деревни принимают её за некромантку: посох, книга, мертвяк с мешком. Она не говорит неправды. Она просто не поправляет. Ученица ест за неё и напоминает дышать. Молодой жрец уверен, что она опасна, и, к сожалению, их не представили. Только города Керр здесь никто не знает. И государя зовут не так.

© Павленко Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Неделя до свадьбы	5
Глава 2. Умерла-умерла	12
Глава 3. Некроманты только дурят	23
Глава 4. Для верности	30
Глава 5. Аааааа	37
Г	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Григорий Павленко

Леди не разваливаются

Глава 1. Неделя до свадьбы

Темно.

Катарина открыла глаза, и ничего не изменилось. Закрыла, посчитала до трёх, как учили перед тем, как войти в залу, и открыла снова.

Темно. И прямо над лицом что-то есть. Она подняла голову и стукнулась лбом.

Ай.

Дерево. Шершавое, сырое, в двух пальцах от носа. Она провела по нему ладонью, и ладонь оказалась в перчатке. В дорожной, тёмной, той самой, что Умбер вчера разложил на кресле поверх платья. Платье тоже было на ней, застёгнутое до горла. Она лежала на спине, одетая в дорогу, и над ней было дерево, и пахло землёй. Сырой, близкой, со всех сторон.

Нет. Нет-нет-нет. Так не бывает.

Так бывает в сказках няни, и то не в хороших.

Руки поднялись на ладонь и упёрлись. Бок упёрся тоже, и другой бок, и колени. Слева, справа, сверху доски, и сколочены они были так тесно, что назвать это иначе, чем гробом, не получалось, как она ни старалась. А она старалась: перебрала «сундук», «ларь» и «очень узкую кровать» и вернулась к гробу, потому что вокруг сундуков не пахнет землёй.

Ей был двадцать один год, и она лежала в гробу.

Мама.

Это она сказала про себя. Вслух было нельзя: в горле стояло что-то большое и колючее, и если его выпустить, выйдет крик, а крик в закрытом ящике — это очень громко.

«Леди не кричат».

Гувернантка сказала это у неё в голове ясно, как всегда, будто лежала в соседнем гробу.

А что леди делают в гробу? Скажите, я сделаю.

Гувернантка не ответила. Гроба в её правилах не было, и Катарина осталась одна, с криком в горле и с доской в двух пальцах от носа.

Потом она увидела глаза.

В ногах, где доски сходились, в темноте горели два огня. Круглые, тусклые, как угли под золой в камине, когда все уже разошлись спать. Они смотрели на неё и не мигали.

Крик в горле стал вдвое больше.

Умбер?

Угли моргнули. Медленно, один раз. Так Умбер моргал, когда она за столом брала не ту вилку: без единого слова и так, что вилку хотелось положить обратно и никогда больше ни к чему не прикасаться, спрятавшись под столом и сгорая от стыда.

— Умбер, — сказала она вслух, и голос в ящике вышел плоский и чужой, как в шкафу.
— Умбер, это ты?

Он не ответил. Он никогда не отвечал, если можно было не отвечать, но сейчас-то, помилуйте, можно было. Хоть раз в жизни.

— Умбер. Скажи что-нибудь.

Тишина. Только глаза, и в них, если очень захотеть, читалось: «Госпожа. Вы в гробу. Это неприлично».

Я знаю, что неприлично! Я не сама сюда легла!

Она не ложилась. Это она помнила твёрдо, и от этого стало сразу легче и сразу хуже. Легче, потому что раз не ложилась сама, значит, положил кто-то, а у «кого-то» есть имя. Хуже, потому что этот кто-то положил, закрыл и ушёл, а она проснулась.

Живая. Меня закопали живую.

Кто? Зачем? За что?

Вот теперь руки сделались ледяными, до кончиков пальцев, сквозь перчатки. Так они холодели вчера вечером, когда во двор въехала карета Аурелей, которые ехали мириться, только вчера у неё были стол, салфетки и половник, и было чем занять руки. Здесь у неё была доска. Она положила на неё обе ладони, плоско, как кладут на скатерть, и стала ждать, когда пройдёт.

Холод не проходил.

Спину. Подбородок. Дышать.

Спину в гробу держать негде. Подбородок упёрся в воротник. Дышать... Она вдохнула. Воздух был земляной, тяжёлый, и его было мало, но он был, и от этого стало чуть спокойнее: пока есть чем дышать, есть время. Сколько? Няня говорила, в гробу воздуха на час. Няня много чего говорила. Удивительная женщина, столько знала, а книги даже в руках не держала.

Хорошо. Час.

За час можно многое. Вчера за час она рассадил гостей, выдержала плащ, суп и шляпу леди Гортензии и не закричала ни разу. Значит, и здесь не закричит. Сначала надо понять, что случилось: пока не поймёшь, нечего и поправлять, а поправлять она умела лучше всех в доме.

— Умбер, — позвала она в темноту, углям. — Ты там был. Ты всё видел. Ты поможешь мне вспомнить, а я разберусь. Договорились?

Угли смотрели.

— Значит, договорились. Начнём с салфеток.

Салфетки лежали углом к двери.

Всё остальное в доме Тэрн в то утро лежало правильно: ложки, вилки, гости в дороге, папа в подвале. Салфетки горничная Марта сложила углом к двери, и Катарина переложила их сама, все двадцать четыре, углом к прибору, потому что если сегодня что-нибудь пойдёт не так, то из-за салфеток. Она это чувствовала. С утра.

Умбер стоял в дверях столовой и смотрел, как хозяйская дочь делает работу горничной.

— Я знаю, — сказала Катарина, не оборачиваясь. — Но у них угол глядел на дверь.

Умбер перевёл взгляд на дверь и ничего такого, за что стоило бы перекладывать двадцать четыре салфетки, в ней не увидел.

Ты мог бы хоть кивнуть.

Он не кивнул. Он не кивал ей с тех пор, как ей было семь и она сама разлила чай, и все чашки вышли разные. За четырнадцать лет она научилась разливать, рассаживать, вести стол и держать спину так, что гувернантка однажды прослезилась, а Умбер так ни разу и не кивнул. Она ждала. Она собиралась дожидаться сегодня.

Потому что сегодня к ужину ехали Аурели.

Дом Тэрн и дом Аурель при дедах воевали, при отцах не кланялись, а теперь решили, что довольно: помириться за столом, а закрепить свадьбой. Свадьбой её. Через неделю, в Керре, при государе. Так что салфетки касались её лично.

Ей ещё никогда не доверяли ничего, от чего зависело бы всё. Теперь доверили ужин. Это было страшно и до того приятно, что с утра она не могла решить, чего больше, и поэтому перекладывала салфетки.

— Ты опять сама, — вздохнула Ирис.

Она стояла на пороге с охапкой астр из сада, срезанных не тем ножом и не в том месте. Ирис была старше на два года, добрее на всю жизнь и совершенно не умела распоряжаться: горничных она просила. Умбер посмотрел на астры так, будто ему испортили ливрею.

— Я просила Марту переложить. Она, наверное, забыла.

— Ирис. Прислугу не просят.

— Я знаю. Я забываю.

Катарина отобрала у неё астры, спрятала мятые стебли в глубину вазы, вывела целые наружу, и стало прилично. Ирис смотрела на это, как на фокус.

— Папа в подвале, — шепнула она. — С утра. Тодд попросил.

Тодд был садовник. Он умер, когда цвели яблони, и до сегодняшнего утра исправно их поливал, а утром пришёл к папе и сказал, что довольно. В доме Тэрн мёртвые служили наравне с живыми, пока хотели, а когда переставали хотеть, папа их отпускал. Дом Тэрн был дом некромантов, и никто в доме этого не стеснялся. Кроме гостей.

Тогда ей было жаль. Он один во всём доме звал её не «госпожа», а «барышня», и ей это ужасно нравилось.

Наверху, в её комнате, на кресле у окна Умбер разложил дорожное платье. Выезжать в Керр предстояло послезавтра, но Умбер не признавал слова «послезавтра»: рукава вдоль, юбка расправлена, сверху перчатки, тёмные, парой. Платье лежало так, будто в него уже кто-то одет, только очень тихий, и Катарина обошла его стороной.

Обошла и вернулась. Новое, тёмное, с пуговицами до самого горла. Послезавтра она надеет его и поедет в Керр, где живёт государь, где она не была ни разу и где, говорят, теперь не снимают перчаток даже за столом. Она провела пальцем по пуговицам сверху донизу, по всем, и отняла руку: разложенное не трогают.

Керр. Государь. Мир.

Из окна кареты она видела мир четыре раза в жизни, и все четыре раза он кончался у соседей. Послезавтра он наконец начнётся дальше соседей. Об этом она думала чаще, чем о свадьбе, и стыдилась этого меньше, чем следовало бы.

О женихе она не думала вовсе, и это было правильно: женихами занимаются папы.

— Платье, — сообщила Катарина доскам.

Умбер моргнул.

— Ты разложил его утром. А теперь оно на мне. Значит, кто-то меня в него одел. Ночью. Спящую.

Она полежала с этим. Спящих одевают в дорогу только в одном случае: когда хотят, чтобы подумали, будто человек уехал сам.

Так. Это уже кое-что.

Руки, если не думать о них, холодели меньше. Она стала думать о плаще.

Дверь открыл Бертольд.

Он делал это медленно, как делал всё: Бертольд умер ещё при прежнем короле, и торопиться ему с тех пор было некуда. Дверь у него не скрипела, поклон выходил ровно такой, какой положен лакею старого дома, и белые перчатки у него были белее, чем у неё.

Живой прислуги в доме держали как у людей: горничные, кухарка, кучер, конюх, прачка. Из мёртвой — Бертольд и привратник у ворот. Что Бертольд мёртвый, Катарина знала так же, как то, что Умбер гoblin, а Ирис старшая: это было устройство дома, а не его недостаток. Бертольд подавал ей плащ, когда плащ был ей до пят.

Аурели приехали втроём. Лорд Аурель, высокий и седой, с лицом человека, который приехал мириться и с самого утра об этом жалеет. Его сестра, леди Гортензия, в дорожной шляпе, которую она не сняла в дверях. И жених.

Флориан Аурель был хорошо причёсан, хорошо воспитан и напуган до такой степени, что поклонился Бертольду. Бертольд поклонился в ответ, потому что был воспитан не хуже.

Мальчик кланяется прислуге. Придётся отучать.

Она посмотрела на него ещё раз, украдкой, как смотрят на подарок, который ещё нельзя разворачивать, и нашла, что причёсан он по-прежнему хорошо. На этом жених кончился: он смотрел в пол.

Лорд Аурель снял плащ и остался с ним в руках. Бертольд ждал. Лорд смотрел на Бертольда, Бертольд смотрел чуть выше плаща, куда и положено смотреть лакею, и прошло столько времени, что можно было пересчитать пуговицы на плаще.

Он не хотел отдавать плащ мёртвому.

Он знал, в какой дом едет. Это знали все, а Аурели дольше всех. Знать и отдать плащ — разные вещи.

Ей стало за него стыдно. Потом стыдно за себя, что стыдно за гостя. Обе неловкости она застегнула на все пуговицы.

— Бертольд. Плащи.

Плащи были приняты. Леди Гортензия отдала накидку и, по лицу, простилась с ней навсегда.

В столовую шли через гостиную, и у каждой двери леди Гортензия чуть задерживалась, точно ждала, что за дверью кто-нибудь стоит. За дверями в доме Тэрн никто не стоял. Вся прислуга, какая была, шла впереди.

— Надеюсь, — леди Гортензия остановилась после малой залы, — в комнаты для гостей ваша прислуга не входит.

— В комнаты для гостей входят горничные, сударыня. Живые.

Хотя стелет Бертольд лучше.

— Ну какие же они всё-таки невоспитанные люди!

Это она сказала вслух, в доску, и доска не возразила.

Умбер моргнул. Впервые за четырнадцать лет он с ней согласился, и надо же было, чтобы это случилось в гробу.

Шляпу леди Гортензия не сняла и за столом.

Катарина решила считать, что в Керре теперь так носят. Иначе пришлось бы считать это невоспитанностью, а с невоспитанными людьми мира не заключают, а мир заключить было надо. Папин стул во главе стоял пустой. Катарина села напротив, хозяйкой, лорд по правую руку, леди Гортензия по левую, Флориан рядом с Ирис, потому что Ирис умела говорить с кем угодно о чём угодно и не замечала, если ей не отвечали.

— Вы очень молоды, дитя, — леди Гортензия оглядела стол, приборы и её, — для хозяйки такого дома.

Сказано это было не в похвалу. Катарина поблагодарила как за похвалу: другого ответа на такое гвернантка ей не оставила.

Молода. Зато у меня салфетки углом к прибору, а у вас иляпа за столом.

Марта внесла хлеб, и хлеб взяли все, и ей стало чуть легче: гость, взявший хлеб, уже наполовину пообедал.

Потом Бертольд внёс суп.

Он нёс супницу ровно, без единого звука, серебряный половник вдоль, крышка не дрожала. Обошёл стол справа, как всякий вечер, и остановился у лорда первым, потому что первым подают гостю. Половник поднялся.

Лорд Аурель накрыл тарелку ладонью.

— Мы условились сесть за один стол, сударыня. О прислуге вашего дома уговора не было. Я не стану есть из рук этого существа.

Сказано было негромко и вежливо, и от этого вышло только хуже. Ирис побелела, потом покраснела. Леди Гортензия положила обе руки на стол, точно собиралась встать. Флориан смотрел в тарелку так, будто там уже налили. Бертольд стоял с половником над накрытой тарелкой и ждал, что ему скажут: сам он давно ничего не решал.

Первое, что Катарине захотелось сказать, было непоправимо. Второе было хуже первого. Оба она додумала до конца, и руки в перчатках сделались ледяными, и это было единственное в ней, что вело себя правильно.

Существо. Он назвал Бертольда существом. За моим столом.

«Леди не кричат. Леди распоряжаются».

— Бертольд, благодарю, — распорядилась она, хотя на языке вертелись совсем другие слова. — Поставьте здесь и ступайте к дверям.

Бертольд поставил супницу перед ней, отошёл к дверям и встал у притолоки, и не смотрел на неё никак, потому что лакей на хозяйку и не смотрит. Ей всё равно захотелось перед ним извиниться. Потом. Когда никто не будет видеть.

Она встала, сняла крышку и взяла половник. Суп был с петрушкой и пах домом.

— При прадедах, — Катарина опустила половник в супницу, — когда наши дома ещё ездили друг к другу обедать, первую тарелку гостю подавала хозяйка. Своими руками. Я, с вашего позволения, старомодна.

Он убрал ладонь. Как убирал, она не смотрела: половник требовал внимания.

— При прадедах, — повторила леди Гортензия. Помолчала. — Да. Так делали.

Голос у неё был такой, каким вспоминают правило, которое давно не пригождалось и которому очень рады. Лорд Аурель взял ложку. Раз одну тарелку она уже налила, пришлось налить и вторую, и третью, и Ирис, и себе, и к концу супницы у неё затекла рука, а вечер снова лежал углом к прибору. Почти.

— Вот здесь. — Катарина открыла глаза в темноту. — Умбер. Вот здесь он это решил.

Она видела это теперь ясно, как салфетку углом не туда. Его пристыдила при сестре и при сыне девчонка двадцати одного года, половником, и он взял ложку. Мужчины такого не прощают. Папа говорил это про дедов, а деды были Аурели. Тэрны, разумеется, были намного лучше и приличнее.

Только зачем в гроб? Отравить проще.

Она подумала и поняла зачем. Мёртвую невесту оплакивают. Пропавшую стыдятся.

От злости ей стало жарко. Рукам — нет. Странно. Ещё один вопрос к тому, кто это сделал. Вопросов в гробу становилось всё больше, а воздуха всё меньше. Это было слегка тревожно.

Папа вошёл, когда суп доели. За ним, на шаг, Умбер, с лицом гоблина, который сделал, что велено, и о цене не спрашивает.

Папа заговорил ещё с порога, и на манжетах у него была земля.

— Прошу простить. — Он сел, не дожидаясь, чтобы ему отодвинули стул. — Упокоение мёртвых процесс не быстрый, а ещё и могилу требовалось выкопать. Тодд просил под яблоней, а под яблоней корни. Здравствуйте, лорд Аурель. Здравствуйте, сударыня. Здравствуй, мальчик.

Лорд Аурель привстал и сел обратно, не решив, что из этого правильнее. Леди Гортензия посмотрела на манжеты. Флориан посмотрел на манжеты. Катарина посмотрела на манжеты и на папу, и ей захотелось сразу двух вещей, которых за столом не делают: закрыть лицо руками и обнять его.

— Папа. Манжеты.

Папа посмотрел на манжеты, согласился, что да, действительно, спрятал их, как умел, то есть никак, и взял бокал.

— За мир. И за то, чтобы никому из нас больше не пришлось никого упокаивать.

Выпили все, даже леди Гортензия, которая перед этим сняла-таки перчатку, одну, правую, и посмотрела на неё так, будто перчатка её подвела.

— Сколько их у вас теперь? — спросила она папу и глазами показала на дверь, где стоял Бертольд.

— Двое. — Папа поднял голову от тарелки. — Было трое, но третий сегодня попросил.

— Попросил.

— Отпустить. Люди имеют свойство уставать от вечной жизни. Это в самой нашей природе.

— Вечная жизнь. — Леди Гортензия поправила перчатку, ту, что осталась. — Значит, это так называется в доме Тэрн.

«В доме Тэрн» она произнесла так, как произносят название болезни. Катарина это услышала, и Ирис услышала, а папа, кажется, нет: он посмотрел на леди Гортензию с интересом, как смотрел на всё, чего не понимал. Катарина передала ей соль. Соль в такую минуту всегда кстати.

В гробу она попробовала улыбнуться, и улыбка вышла. Папа. Папа с землёй на манжетах, папа, который назвал жениха мальчиком, папа, который поправит всё, когда узнает. А он узнает. Дома сейчас утро, Марта войдёт будить, постель пустая, платье с кресла пропало, и Ирис побежит к нему в подвал, и он поднимется, как есть, в земле, и...

И что? Куда он побежит? Где она?

Этого она не знала, и руки застыли снова.

Ничего. Ничего. Папа поправит.

Ночевать Аурели не остались. Лорд Аурель, вставая, поблагодарил за ужин и сказал, что они заночуют в Вязах, на постоялом дворе, чтобы не стеснять хозяев, и что до Вязов рукой подать.

До Вязов было не рукой подать, а ночью и по ухабам.

— Разумеется, — Катарина наклонила голову.

Разумеется. Кто же ночует в доме, где плащи принимает мёртвый.

«Леди не обижаются на гостей».

Я и не обижаюсь. Я запоминаю.

Во дворе горел фонарь. Конюх держал гнедую, пока лорд садился в карету, Флориан поклонился ещё раз, на этот раз, к счастью, ей, а Ирис вышла проводить без шали и что-то сказала конюху, коротко, и он кивнул, не поднимая головы. Про гнедую, наверное. Ирис жалела всех лошадей, каких видела.

Ворота закрыли, и в доме стало тихо. После гостей всегда так: можно наконец снять перчатки. Катарина сняла их на лестнице и села на ступеньку.

Этого она не делала лет с десяти. Лестница не стала ниже, а она не стала меньше, но ступенька приняла её как родную, и она посидела так, сколько сидят, когда никто не видит. Потом увидела Умбера. Он стоял внизу и смотрел на хозяйскую дочь на ступеньке, как на то, чего в доме Тэрн не бывает.

Не смотри так. Я всё. Я встаю.

Папа был у себя, писал и не слышал, как она вошла. На полке за его спиной, под платком, стояла вещь, о которой в доме не говорили при детях. Она и не говорила. Кому?

— Папа.

Он поднял голову, и лицо у него сделалось такое, какое делалось всегда, когда он видел её и не сразу вспоминал, который час.

— Всё прошло?

— Всё прошло.

— Он ел суп?

— Он ел суп.

— Ну вот, — обрадовался папа. — А ты боялась.

Она боялась. Она боялась с самого утра, и объяснять это папе было поздно и не нужно, и она просто наклонилась, и он положил ей руку на голову, как клал, когда она была маленькая и приходила показать, что вымыла руки. Рука была тёплая, и на манжете всё ещё была земля.

Ирис поднялась к ней с чашкой, как всегда. Липовый цвет с мёдом, каждый вечер с тех пор, как не стало мамы, и каждый вечер Катарина выпивала до дна, потому что обидеть Ирис было бы последним, чего она хотела в этой жизни. Чашка была тёплая.

— Ты была великолепна.

— Я была старомодна.

— Это одно и то же. — Ирис поцеловала её в лоб, унесла чашку и погасила свечу.

В темноте Катарина лежала, как учили, на спине, и складывала в голове дела, как складывала салфетки: послезавтра выезд, значит, завтра собрать платье, пересчитать перчатки, проследить, чтобы папа не взял в Керр ничего из подвала, чтобы Умбер не взял с собой лицо, которое у него было сегодня, и чтобы Ирис не забыла шаль.

Спину. Подбородок. Да.

Ей было хорошо. Она позволила себе это на минуту, как позволила ступеньку, и закрыла глаза.

И открыла их здесь.

Между «закрыла» и «открыла» не было ничего. Ни звука, ни сна, ни рук, которые несли. Она лежала в своей постели, а потом лежала в гробу, и всё, что между, сделал кто-то другой, пока она спала.

Спала. Я никогда не сплю так крепко. Я сплю, как учили: чуть что — сажусь.

А вчера не села. Не проснулась, когда её одевали. Не проснулась, когда несли, когда клали, когда закрывали и засыпали землёй. Что-то было в этом сне такое, отчего не просыпаются, и она знала это что-то по названию: в доме некромантов слово «яд» при детях тоже не говорили, но дети не глухие.

Кто?

Чужих за столом вчера было трое, и один из них не стал есть из рук Бертольда, а вторая не сняла шляпы.

И метили они не в неё. Она просто разменная монета, как любил говорить Тодд. Метили в папу: невеста исчезает в ночь после ужина, на котором мирились, и дорожное платье пропадает вместе с ней, и что скажут в Керре? Что скажут государю? Что дочь Тэрнов сбежала накануне мира, потому что в доме Тэрн, вот же, даже невесту не могут удержать. Мир кончится, не начавшись, и виноват будет папа.

Отравить было бы проще. Но мёртвую невесту оплакивают, а пропавшую стыдятся, — повторила она себе.

Вот теперь у неё не было ни страха, ни холода в руках. Была злость, и злость была такая ясная и такая горячая, что в гробу стало почти тепло.

Хорошо, лорд Аурель. Вы хотели, чтобы я пропала? Обойдётесь.

Я не пропаду. Я приду в Керр. В залу, при государе, в этом самом платье, которое вы на меня надели. И посмотрим, кто из нас пропал.

До свадьбы оставалась неделя. От дома до Керра два дня каретой. Где она сейчас, она не знала, кареты у неё не было, и над ней лежала земля, и всё это были мелочи по сравнению с тем, что она уже решила.

— Умбер. Мы сами прибудем в Керр и устыдим их своим присутствием!

Угли моргнули. Медленно. Так Умбер моргал, когда хозяйская дочь распоряжалась о том, о чём распорядиться не могла, и он собирался исполнить всё равно.

Она положила ладони на доску и толкнула. Доска не шевельнулась. Она толкнула ещё, и ещё, и с третьего раза сверху, через доску, через землю, глухо и совсем близко, постучали. Три раза, как в дверь.

И голос сверху, хриплый, старый и ничуть не удивлённый, спросил:

— Эй, ну ты как там? Вылезать собираешься?

Глава 2. Умерла-умерла

— Собираюсь! — крикнула Катарина в доску. — Одну минуту!

«Леди не кричат».

Госпожа Клотильда, я в гробу. Здесь очень плохая слышимость.

Наверху кто-то был. Живой, с руками, и он стучал — значит, знал, что она тут, а значит, всё это сейчас кончится. Сил у неё вдруг стало втрое больше, чем минуту назад, и все они рвались наружу.

— Сударь! Вы меня слышите?

— Чего? — отозвались сверху.

— Я говорю: вы меня слышите?

— Слышу, — ответил голос. — Не ори только. Я, дочка, в ушах-то не молодой.

Дочка.

Дочкой её звал только папа, и то в шутку, когда она напроказит. А этот и не знает, кто она такая. Лежит под землёй чья-то дочка, и ладно.

И всё-таки от этого слова ей стало спокойнее, чем за всё утро, и сразу неловко, что спокойнее.

— Прошу прощения! — Она прибавила голоса, но не тона. — С кем я имею честь?

Наверху помолчали.

— Чего?

— С кем имею честь?!

— Да не кричи ты, говорю же!

Ну разумеется.

Через землю светская беседа шла скверно. Его голос доходил глухо, как из-за двух закрытых дверей, а её — и того хуже: половину съедала доска над лицом, вторую земля.

Знакомиться самой, без третьего лица, госпожа Клотильда не позволяла ни при каких обстоятельствах.

«Кроме пожара, — говорила она. — При пожаре, дитя моё, знакомятся сами».

Это пожар, госпожа Клотильда. Просто такой, с землёй.

— Меня зовут Катарина Тэрн! — крикнула она в доску, но не громко. — Я нахожусь под вами! Прошу вас, скажите: где я и который час?

— Где-где. На кладбище, — ответил старик. — Утро.

Утро. Дома сейчас утро, Марта несёт воду, и постель пустая.

— На каком кладбище?

— На старом.

Превосходно. Благодарю вас. Теперь я всё знаю.

Сверху кряхтело и шуршало. По шуршанию выходило, что человек садится — не «сейчас, я мигом», а основательно и надолго.

— Сударь. — Катарина постучала в доску ладонью, как стучат в дверь кабинета. — Будьте любезны, достаньте меня отсюда.

— Да ты лежи. — Наверху зашуршал плащ. — Лежи, дочка, не дёргайся. Я сейчас прочту, что положено, и всё у тебя пройдёт.

Над ней лежала земля неизвестно какой толщины, дышать было нечем, доска висела в двух пальцах от носа, — и всё-таки худшее за это утро сказали только что.

Прочтёт. Что положено.

— Что вы прочтёте?

— Что положено. — Объяснять он не собирался. — Ты не бойся. Оно не больно.

— Я не боюсь! — Она всё-таки крикнула, и доска вернула ей крик в лицо. — Я, сударь, не боюсь, я не понимаю! Я живой человек, меня закопали ночью, без моего ведома, в чужом ящике, и вместо того чтобы взять лопату, вы предлагаете мне что-то читать!

Молчание наверху сделалось другое. Внимательное.

— Кто это тебе сказал? — спросил старик.

— Что сказал?

— Что живой.

У неё в горле опять встало то большое и колючее.

Не отвечай ему. Он глухой и грубый, и он сидит на камне, когда дама под землёй.

— Умбер, — позвала она тихо. — Ты слышал, что он сказал?

Угли в ногах моргнули.

— Вот и я о том же. — Катарина перевела дух и заговорила наверх тем голосом, каким за столом просят убрать испорченное блюдо: — Сударь, оставьте ваше чтение. Мне нужен человек с лопатой. Если у вас её нет, ступайте в ближайший дом и наймите работников, за счёт дома Тэрн. Папа заплатит. Папа заплатит вдвое.

— Тэрн, — повторил старик, будто пробовал слово на язык и ничего в нём не находил. — Не слышал.

— Разумеется, слышали.

— Нет, дочка.

Не слышал он.

Глушь. Увезли за уезд, туда, где не то что дома Тэрн — где ложку берут двумя руками. С Аурелей стало бы и это: раз везти, так подальше, чтобы кругом ни одна душа не знала ни имени, ни герба.

И хорошо. Глушь можно проехать.

— Умбер. — Она повернула голову к углям. — Вставай. Мы копаем сами.

Угли не двинулись.

— Умбер. Я не могу поднять руки выше этого, я лежу на спине в ящике, а ты сложен втрое и всё равно как-то там помещаешься. Значит, ты гибче. Копай вверх.

Угли смотрели на неё не мигая. Дворецкие дров не носят.

— Умбер. Пожалуйста.

Этого слова прислуге в доме Тэрн не говорили. Не запрещали — просто хватало «будьте любезны». Она сказала «пожалуйста», и у неё в ногах завоились: тяжело, деловито и крайне неодобрительно.

Потом над её лицом хрустнуло дерево.

Доска, которую она за это утро выучила наизусть, отошла вбок, и в гроб посыпалась земля. Комьями, сырыми, с корешками. Прямо на платье.

— Умбр-р-р! — Рот у неё довольно быстро забился землёй.

Умбер копал.

Он копал вверх обеими руками, и земля шла так, будто её там кто-то отдавал. Умбер сроду ничего не делал быстро. Умбер ходил медленно, кланялся медленно, а медленнее всего подавал то, что просили не вовремя.

— Медленнее! — распорядилась Катарина, отплёвываясь. — Умбер, я вся в земле!

Он не остановился.

Он не остановился.

За четырнадцать лет — ни разу. Она велела медленнее, а он копал, и это было до того неправильно, что она забыла про платье и смотрела, как её дворецкий, сложенный втрое, разрывает потолок её могилы, будто наверху пожар.

— Хорошо. Хорошо, копай.

Сверху потянуло холодом и травой, мокрой от росы. В темноте наметилось серое пятно, оно росло, по краям закачались корни — и в дыре открылось небо.

Небо было мутное, низкое и совершенно некрасивое.

Она посмотрела на него из ямы, и у неё задрожал подбородок. Подбородку было велено перестать.

Спину. Подбородок.

Спина была в земле. Подбородок слушался плохо.

Дышать.

Она вдохнула. Воздух вошёл холодный, настоящий и ровно никуда — как вода в кувшин.

Это от страха.

Умбер выбрался первым и подал ей руку из ямы.

Он всегда подавал её так: шаг назад, локоть согнут, перчатка белая. Только перчаток на нём теперь не было, рука была зелёная и в земле, и подавал он её не из кареты, а из могилы. Катарина присела бы от неожиданности, если бы было куда.

— Благодарю. — Она взялась.

Он вытянул её одним движением. Наверх она вылезла на четвереньках — из могил леди вылезают только так, — села на пятки и осмотрела себя.

Платье было уничтожено.

Оно было в глине до самого ворота, юбка сзади разорвана по шву, на правом рукаве висел чёрный ком, и от всего этого пахло погребом. Перчатки она сама, своими руками, испортила окончательно, пока лезла.

— Ой, — сказала Катарина.

Платье было так жалко, что ей на минуту сделалось легко: раз есть испорченное платье, значит, есть и всё остальное — комната, кресло, Марта, уют, папа. Она поднялась и отряхнула юбку ладонями, раз, другой и ещё раз по подолу.

«Леди отряхивают юбку».

Вот именно.

Умбер подошёл и отряхнул ей спину. Сзади она не видела, а он видел и молча делал своё дело, и посреди чужого кладбища всё вдруг сделалось почти прилично.

Потом она подняла голову и наконец осмотрелась.

Кладбище было старое. Не как родовой склеп, куда ходят два раза в год с цветами, а старое так, что за ним давно никто не ходил: кресты вкось, иные лежат, между могилами берёзы в руку толщиной, и выросли они как попало. Кругом близко стоял лес, и с той стороны, откуда тянуло дымом, он был пореже.

А её могила была не могила.

Она обошла её и посмотрела как следует, потому что смотреть было страшно, а не смотреть — ещё хуже. Яма была разворочена изнутри, земля лежала комьями по краям, но по краям же лежало и другое: дёрн. Плотный, старый, сросшийся дёрн, весь в мелкой траве, и трава эта росла из него давно и спокойно.

Ночью так не бывает.

Ночью бывает свежий холмик, рыхлый, с лопатными надрезами, чёрный. А тут кто-то закопал её, потом отыскал где-то целый ковёр старого дёрна, аккуратно выложил сверху и, надо думать, ещё и притоптал.

Постарались.

Ни камня. Ни доски. Ни имени. Ничего, по чему можно было бы сказать, что здесь вообще кто-то лежит.

Она стояла над своей ямой, и в ней самой поднималось то же, что вчера, когда лорд Аурель накрыл ладонью тарелку, только больше.

Значит, всё-таки не просто увезти. Не просто закопать. Ещё и травой сверху, чтобы не нашли даже те, кто станет искать. Какое бесстыдное коварство.

Сбоку кашлянули.

Катарина обернулась. На соседнем камне сидел человек и ждал, пока дама закончит осматривать свою могилу.

Старик был очень старый. Сухой, седой, в плаще, который ей в доме не позволили бы отдать даже нищему, и с мешком, поставленным у ног. Рядом с мешком лежал посох. Шляпу он держал на коленях: снял, ещё когда она вылезала, и так и держал в руках.

За всё утро это было первое, что случилось по правилам.

Катарина взяла себя за юбку двумя пальцами, там, где юбка была почище, и присела.

— Прошу простить мой вид, сударь. Обстоятельства.

— Ничего, — отозвался он. — Красивое платье.

Оно погибло.

— Благодарю вас.

— Ты уж не сердчай, что я сидя, — прибавил он. — Я бы встал, да ноги нынче не стоят.

— Помилуйте.

Он смотрел снизу вверх, спокойно и внимательно, и совсем не удивлялся. Вот это и было хуже всего. Из могилы вылезла девица в разорванном платье, за ней гоблин с проломленной головой, — а он сидел, будто приехала телега, которую и ждали.

— Умбер. Представь нас.

Умбер шагнул вперёд и поклонился ровно настолько, насколько дворецкий дома Тэрн кланяется человеку с мешком. Потом выпрямился и замолчал — это он умел лучше всего на свете.

Ах да.

— Мой дворецкий не говорит, — объяснила Катарина. — Он повредил голову. Я Катарина Тэрн.

— Фольк, — представился старик.

— Фольк?..

— Просто Фольк, дочка.

При свете она наконец разглядела Умбера целиком — и разглядела голову.

Голова у него была подвязана белым платком, крест-накрест, узлом сбоку, аккуратно, как подвязывают больной зуб. Из-под платка с левой стороны уходило вниз что-то тёмное и вдавленное, чего у людей не бывает, а у ливреи не было ни складки: зелёное сукно дома Тэрн, выглаженное, и только у колен в глине.

Её должно было замутить, и не замутило.

Его ударили. Его ударили по голове, а он подвязался и пошёл со мной.

— Умбер. Почему ты молчишь? Тебе больно?

Умбер посмотрел на неё своими огромными глазами и не ответил.

— Он тебе не ответит.

— Он всегда так. Он и дома говорил раз в месяц, по большим праздникам. — Вышло слишком быстро, и она нарочно замедлила: — Ему нужен доктор. Здесь есть доктор?

Старик побряхтел, устроился поудобнее и надел шляпу: разговор предстоял долгий.

— Доктор ему ни к чему. Он мёртвый.

— Он гоблин, — поправила Катарина.

— И гоблин, — согласился Фольк. — И мёртвый.

— Сударь. — Катарина смягчила голос: старик был очень стар, а в такое утро путаются и помоложе. — Умбер служит нашему дому с тех пор, как папа был молод. Он живой. Его ударили по голове сегодня ночью, вот и всё.

Фольк посмотрел на Умбера. Умбер посмотрел на Фолька. Глаза у Умбера светились сами, тускло, как ночью в гробу, и серое утро им не мешало.

— Ударили, — согласился Фольк. — Это да. Только он от этого не голос потерял, дочка. Он от этого помер.

Катарина открыла рот и закрыла его.

— Умбер, — позвала она. — Подойди, пожалуйста.

Умбер подошёл.

— Возьми меня за руку.

Умбер взял. Рука была прохладная и твёрдая, такая же, как всегда: у гоблинов руки и должны быть прохладные, это всякий знает.

— Вот видите. — Катарина показала старику их сцепленные руки. — Он стоит, ходит, копает и слушается. Мёртвые так не делают.

— А как они делают?

— Они лежат.

— Кто ж им это сказал, — вздохнул Фольк.

— Ты садись, дочка.

— Благодарю, я постою.

— Садись, садись. Разговор короткий, а стоять тебе после него не захочется. — Он подвинулся на камне и отряхнул рядом с собой ладонью. — Ты умерла.

Катарина осталась стоять.

— Нет.

— Умерла.

— Нет, сударь. Не умерла.

— Умерла, умерла. — Старик говорил об этом, как о дожде, который непременно будет.

— Это вы умерли!

Так говорят в детской, когда отбирают куклу. За такое госпожа Клотильда ставила к окну — смотреть в сад, пока не сделается стыдно.

Стыдно сделалось сразу. Только стыд был маленький, а под ним лежало огромное и холодное, и оно уже поднималось.

Фольк не обиделся. Он обрадовался.

— А вот я-то как раз и нет. — Он приложил два пальца к своей морщинистой шее. — Живой. Шестьдесят девять лет живой, и ещё немножко.

— Ну вот и я.

— А вот и не ты.

— Сударь!

— Дочка.

Они посмотрели друг на друга. За берёзами кричала птица — однообразно и глупо, потому что ей никто ничего не объяснил.

Он старый. Он живёт при кладбище. Он выжил из ума, и с ним надо ласково.

Не выжил. Он просто сидит и ждёт, пока я перестану.

— Хорошо. — Катарина сложила руки. — Чем вы это докажете?

Старик кивнул, будто именно этого и дожидался, и полез в мешок.

— Скажи мне что-нибудь длинное.

— Что именно?

— Что хочешь. Сердитое лучше всего. Ты, я вижу, сердитая.

Сердитая.

— Извольте. — Катарина расправила плечи. — Я, сударь, вчера вечером усадила за один стол два дома, которые не кланялись друг другу при трёх поколениях. Я налила супу человеку, который назвал моего лакея существом, и не сказала ему ни одного слова из тех, что следовало

сказать. Я легла спать в своей постели, укрытая, с чашкой липового цвета, в доме, где меня любят, — а проснулась в сосновом ящике, в платье, которое кто-то надел на меня спящую, под землёй и старым дёрном, без имени на могиле. И первый живой человек, которого я встретила, вместо лопаты предлагает мне что-то прочесть, а теперь сообщает, что я, изволите видеть, умерла, — и всё это за неделю до моей собственной свадьбы!

Она перевела дух.

Вернее, она сделала то самое движение, которым переводят дух, и ничего не почувствовала.

— Ни разу.

— Что?

— Ни разу не вдохнула. Ты вон сколько наговорила, я и то устал. А воздуху не брала.

Катарина набрала полную грудь воздуха, нарочно, так что платье натянулось на рёбрах, и выдохнула ему в лицо.

— Вот.

— Вот, — согласился он. — Подышала. Умеешь. Я вон мехами подую, а мехи не дышат. Он достал из мешка зеркальце.

Маленькое, тусклое, в оловянной оправе, с трещиной в углу. Такого в доме Тэрн не нашлось бы и у судомойки. Фольк протянул его, но рука у него тряслась и не дотягивалась, и тогда Умбер взял зеркальце двумя пальцами за оправу и подал госпоже с той стороны, с которой берут.

— Дыши.

Катарина поднесла зеркальце к губам и подышала.

Ничего.

Стёклышко осталось тусклым, и в нём отражался кусок её подбородка и серое небо. Она подышала ещё раз, длинно и сильно, как дышат на замёрзшее окно, чтобы протаять глазок и посмотреть, не приехали ли гости.

Ничего.

— Оно грязное.

— Грязное, — согласился Фольк. — Дай сюда.

Ондохнул на стекло сам. Стекло затянуло белым, он показал ей его на раскрытой ладони, и муть медленно сошла.

Ну и что. Ну и что же.

— Дай руку.

Она сняла перчатку.

Пальцы были очень белые и очень чистые. Чище, чем им полагалось бы после ямы: земля к ним будто и не приставала. Старик осторожно взял её за запястье и подержал. Потом переложил пальцы ниже. Потом ещё раз.

— Слышишь?

— Нет.

— И я нет.

Катарина отняла руку, нашла у себя на запястье то место, где у людей стучит, и прижала пальцы сама. Считать пульс она умела: в доме болели, и однажды она целую ночь просидела, считая мамин.

Под пальцами было тихо.

Она переложила их, как он. Потом на другой руке. Потом прижала ладонь к груди — туда, где всю её жизнь что-нибудь делалось: когда она входила в залу, когда папа возвращался, когда вчера лорд Аурель накрыл ладонью тарелку.

Там было тихо.

— Сударь. Дайте мне вашу руку.

Фольк дал.

Она взяла его за запястье, нашла место и подержала. Под пальцами стучало — неровно, торопливо, с провалами, но стучало, и это было до того обыкновенно и до того возмутительно, что она держала дольше, чем следовало.

— У вас прекрасный пульс, — сказала она наконец.

— Какой есть.

Она аккуратно вернула ему руку, опустила свою и села на землю.

Прямо на траву, между двумя чужими могилами, в разорванном платье и одной перчатке.

Леди не сидят на земле.

Плакать не выходило.

Она попробовала. Внутри всё было готово, всё поднималось и рвалось — и на этом кончалось. Глаза оставались сухие. Она потёрла их костяшкой, как трут дети, и ничего не выступило.

Даже этого нельзя.

Обида поднялась такая, что закрыла собой всё остальное. Катарина сидела, смотрела на носок туфли, торчащий из-под грязного подола, и думала: человеку, который умер, полагается хотя бы поплакать. Это-то за что отняли?

— Ну вот, — отозвался старик сверху, и торжества в его голосе не было. — Ничего. Все сперва спорят.

— Все?

— Ты не первая, дочка. Их нынче много встаёт. Такой год.

Она подняла голову.

— Встаёт, — повторила она. — Значит, нас кто-то поднимает?

— Кого поднимают, а кто и сам.

— А я?

Фольк пожал одним плечом. Левое у него не поднималось.

— Сила в тебе сидит. Она тебя и держит. И тебя, и гоблина твоего, и ящик твой, целёхонький. Земля вон какая старая, а сосна свежая, будто вчера строгали. Это всё она.

Катарина посмотрела на разворошённую яму.

Сосна была дешёвая и сырая, нестроганая изнутри, с двумя сучками у самого её лица. В доме Тэрн в гробах понимали не хуже, чем в каретах, и такого гроба папа не позволил бы и для конюха.

Ещё и на ящике сэкономили. Какой стыд.

Это было мелко рядом со всем остальным, и всё-таки от этого у неё сжались зубы.

— Умбер. Ты знал?

Умбер стоял рядом, очень прямо, сложив руки, и смотрел не на неё, а поверх её головы, в берёзы, — так он стоял в столовой, когда при нём говорили о господах.

— Ты знал, что я умерла, и всё это время молчал.

Умбер не шевельнулся.

— Он не молчит. Он не может. У вас в доме что, мёртвые разговаривали?

— У нас в доме мёртвые разговаривали, когда хотели. Бертольд подавал плащи и здоровался с гостями тридцать лет.

Старик снял шляпу. Второй раз за утро.

— Вон как, — сказал он тихо. — Значит, у вас хорошо работали. Так нынче не умеют.

— Умбер. — Она не обернулась. — Значит, ты можешь и не хочешь.

Умбер смотрел в берёзы.

И тут ей стало ясно всё разом: когда-нибудь он ответит, а сегодня — нет, и просить бесполезно. Он простоял над ней в темноте всю ночь, с проломленной головой, зная, и молчал.

Хорошо. Я не буду просить.

Она встала, отряхнула юбку — на этот раз не потому, что так учили, а потому, что руки надо было чем-нибудь занять, — и повернулась к старику.

— Сударь. Я умерла, это я приняла. Теперь будьте любезны объяснить, что с этим делают.

— Что делают, — повторил Фольк. — Тебя обратно кладут. Вот что делают.

— Обратно — это в яму?

— В яму.

Катарина посмотрела на яму. Яма посмотрела на неё.

— Нет.

— Ты послушай сперва. — Старик поёрзал на камне. — Меня из деревни позвали. Третью ночь, говорят, на старом кладбище ворочается кто-то, встать хочет. Пастух слышал. Мальчишек гонять устали, скотина к лесу не идёт. Позвали, чтоб я пришёл и сделал, как положено: чтоб лежала, где положили, и не ходила. За это мне курицу обещали.

— Курицу.

— И хлеба.

Курицу.

Ей вдруг стало так обидно, что обида перебила даже яму. Вчера у неё было двадцать четыре салфетки, супница с половником и лорд, который ел из её рук. Сегодня за неё давали курицу. И хлеба.

— Сударь. — Голос она удержала. — Сколько бы вам ни обещали, папа заплатит вдвое. Втрое. Три курицы, если угодно. Вы сейчас поворачиваетесь и идёте со мной, я вас представлю, и вы получите место в доме, где не придётся спать на камне и ходить пешком.

— Далеко до дома-то?

— Два дня каретой.

— Кареты нет, — заметил Фольк.

Это временно.

— И третья ночь. — Катарина покачала головой. — Вот это вам наврали. Меня закопали вчера, я легла спать в своей постели, и с тех пор прошла одна ночь.

Старик посмотрел на неё, потом на дёрн, потом опять на неё. Сейчас он скажет что-то ужасное. Катарина приготовилась.

— Ну, может, и наврали. — Он поскрёб щёку. — Деревня. Им лишь бы поскорее пришли.

Вот именно.

Ей стало легче. Пастух по ночам слышит всё, что хочет услышать, а деревня, когда зовёт, всегда прибавляет — и ночей, и страху, и что скотина не идёт. За папой однажды прислали в соседний уезд с криком «встали все», а встал один старый конюх, дошёл до колодца и сел.

— Ты, дочка, не серчай. Домой тебе не надо. Тебе надо обратно.

— Мне надо в Керр.

Вышло громче, чем она хотела, и впервые за всё утро — её собственным голосом.

— Куда?

— В Керр. — Она подобрала юбку и подошла к нему ближе, чтобы не приходилось повышать голос. — Через неделю в Керре моя свадьба. При государе. Туда съедутся оба дома, и сестра, и папа, и люди, которые уже сегодня начнут пересказывать друг другу, что невеста сбегала накануне мира, а Тэрны не удержали даже собственную дочь. И вот, покуда они будут это пересказывать, я войду в залу.

Фольк слушал внимательно, наклонив голову к плечу.

— В этом платье, — прибавила Катарина.

— Оно порвано.

— Я зашью.

Старик побряхтел.

— Дочка. Мёртвых в залу не пускают.

— Меня пустят. Меня ждут.

— Ты по дороге пойдёшь, тебя люди увидят.

— Пусть видят. Я хорошо воспитана.

Фольк засмеялся тихо и невесело, и смех у него кончился кашлем. Он долго кашлял, прижав к груди кулак, а Умбер смотрел на этот кашель, как дворецкий смотрит на гостя, который слишком много себе позволил.

— Хорошо воспитана. — Старик вытер губы ладонью. — Оно, может, и дольше продержишься. Только ты, дочка, пока целая. Это ненадолго.

— Что ненадолго?

— Целая. — Он покивал сам себе. — Сперва все целые ходят. Потом у кого палец, у кого рука. У кого что.

У кого что.

Она посмотрела на свою руку — голую, без перчатки, очень чистую и очень белую, с длинными пальцами, которыми её учили держать веер, чашку и перо. Пальцы были на месте. Все пять. Она пересчитала их глазами, быстро, чтобы никто не заметил.

— У меня ничего не отвалится.

— Ну, гляди.

— У меня ничего не отвалится, — повторила она твёрже. — Леди не разваливаются.

Сказано это было спокойно и никому в отдельности. Госпожа Клотильда промолчала: такого правила у неё не было, а у Катарины теперь было.

Она надела перчатку обратно и застегнула её на все пуговицы.

Фольк вздохнул и потянулся к мешку.

Он достал оттуда книгу — толстую, в потёртой коже, разбухшую от того, что её много раз мочило, — положил на колени и стал искать нужное место, слюня палец. Потом протянул руку и подтянул к себе посох.

— Ты встань туда. — Головы он не поднял. — К яме поближе. И не бойся, оно не больно. Раз — и всё.

— Сударь.

— Я быстро. Мне ещё после тебя пять деревень пройти надо. Везде какая-то морось... ни дня отдыха...

— Сударь! — Катарина шагнула к нему. — Я вам не позволяю.

— Дочка, тебя никто не спрашивает, — ответил старик без всякой злости, продолжая листать. — Тебя вообще спрашивать нельзя. Ты не сама встала, тебя сила подняла, а сила не спрашивает и не отпустит. Тут либо я, либо потом другие, и другие хуже сделают.

Он нашёл страницу, разгладил её ладонью и поднял на неё глаза, и глаза у него были усталые и добрые.

И тогда между ними встал Умбер.

Он сделал это, как делал всё: без спешки и без шума, ровно на два шага вперёд. Остановился перед стариком, сложив руки, спиной к ней, — маленький, по пояс ей, в зелёной ливрее и с подвязанной головой. Больше он ничего не делал. Он стоял и не давал пройти.

Так он вставал в дверях столовой, когда в дом входили без доклада.

Дворецкий не дерётся. Дворецкий держит дверь.

— Убрал бы ты своего гоблина.

— Он меня не слушается, — ответила Катарина, и это была чистая правда.

Старик посмотрел на Умбера, на неё, на книгу у себя на коленях. Потом он весь опустился — будто из него вынимали то, на чём он держался, — и выговорил:

— Ты не сердчай, дочка. Работа такая, а я...

Он не договорил.

Не потому, что передумал.

— Сударь?

Старик сидел, как сидел. Книга лежала у него на коленях, раскрытая, и ветер перевернул ей страницу, а он не поправил.

— Сударь. Договаривайте.

Умбер обернулся к ней и посмотрел.

Она обошла его — он отступил сам — и присела перед камнем, чтобы оказаться ниже стариковского лица и увидеть его. Лицо у Фолька было спокойное и немножко недовольное, будто он забыл на дороге что-то нужное.

Зеркальце лежало у него в кармане плаща, с краю, она видела оправу. Катарина достала его двумя пальцами и поднесла к его губам.

Стекло осталось тусклым.

Она подержала дольше, чем было нужно, потому что в первый раз ведь тоже подержала дольше. Потом взяла его за руку — рука была тёплая, теплее её собственной, и от этого тепла у неё внутри всё сдвинулось, — нашла на запястье то место и прижала пальцы.

Ничего.

Она переложила их ниже, как он ей показывал. Потом на другой руке.

— Старик умер, — сказала она вслух, потому что кому-то это следовало сказать.

Никто не ответил. Птица за берёзами кричала всё так же однообразно и глупо.

Он пришёл сюда, чтобы положить её обратно в землю, просидел на камне полночи, не встал, когда она вылезла, и сказал «красивое платье». Он ей сегодня ни в чём не соврал и один за всё утро снял перед ней шляпу.

Теперь ей стало ещё совестнее за то, что она сказала ему, что он умер. Хотя, если подумать, это могло сойти за добросовестное предупреждение. Если хорошо подумать.

Она сняла с него шляпу, положила ему на колени, поверх книги, и сложила ему руки на груди. Руки поддались.

Потом Катарина встала и оглядела кладбище — чужие кресты вкось, берёзы, дыру в дёрне.

— Умбер. Нам надо его похоронить.

Копать новую могилу не пришлось: своя яма была вполне приличная и даже глубже, чем нужно старику. Умбер выгреб со дна всё, что насыпалось, разобрал гроб на доски и сложил их у берёзы, одну к одной.

Катарина держала книгу и мешок и распоряжалась.

Распоряжаться было нечем, и она всё равно распоряжалась: похороны — это приём, а приёмами в доме Тэрн занималась она. Плащ она расправила, чтобы не скомкался. Шляпу решила класть в руки, а не на лицо: на лицо кладут, когда покойник неприбран, а он был прибран, только очень старый.

Вдвоём они опустили его вниз. То есть опускал Умбер, а она поддерживала голову, чтобы не стукнулась, и голова всё равно стукнулась, и Катарина сказала «простите».

Потом надо было говорить.

Она открыла книгу там, где он заложил пальцем. Строчки были писаны от руки, и не одной рукой, буквы попадались незнакомые, одно слово зачёркнуто, а сбоку мелко приписано другое. Она начала читать вслух и остановилась на третьем слове.

Нет.

Так нельзя. Так читают чужое письмо вслух над человеком, который сам его написал.

Катарина закрыла книгу, прижала её к груди и выпрямилась над ямой — так, как стояла бы у себя в зале, будь у неё в зале яма.

— Сударь. Я не знаю слов, которые у вас говорят, а мои вам, наверное, не подойдут. Поэтому я скажу, как у нас. Вас звали Фольк. Вы пришли, хотя у вас не стоят ноги. Вы сняли

шляпу. Вы были очень добры ко мне, а я вам нагрубила, и мне за это стыдно. Простите меня, и спите спокойно, и пусть вас никто больше не тревожит.

Она подумала и прибавила:

— И курицу вы заслужили.

Умбер спустился в яму, поправил старику плащ и вылез. Потом он встал у края и сделал короткое движение обеими руками, сверху вниз, будто разглаживал скатерть.

Катарина сочла это поклоном и нашла, что для гоблина это было очень прилично.

Земли было много, и ложилась она быстро.

Мешок у старика оказался почти пустой: краюха хлеба, завёрнутая в тряпицу, огарок свечи, гребень, нитки с иглой, воткнутой в отверстие, и зеркальце.

— Мы его берём. Некому больше.

Вслух это вышло глупо. Кому «некому»? У человека был дом, была дверь и, верно, какая-нибудь старуха, которая ждала его к вечеру, и всё это следовало найти и отдать. Она найдёт, когда узнает, где она сама.

Книга была тяжёлая. Посох она попробовала взять как трость и обнаружила, что он ей как раз по руке.

Умбер взял мешок и встал у неё за плечом.

Солнце стояло уже высоко, хоть и за облаками. Утро ушло целиком — на доску, на яму, на зеркальце, на старика, — и Катарина считала, сколько времени осталось до Керра. Раньше она считала его до приезда гостей.

Неделя. Уже меньше недели.

— Итак. — Катарина взяла посох поудобнее. — Дорогу мы не знаем. Значит, идём туда, откуда он пришёл: раз его позвали, там есть люди, а у людей есть дороги и кареты. Мы спросим дорогу на Керр и поедem.

«Леди не ходят одни».

Я не одна, госпожа Клотильда. Я с дворецким.

Тропа с кладбища вела в одну сторону и была нахоженная, но не деревенская: такой ходят редко и по делу. Лес по обе стороны стоял мокрый и тихий. Катарина шла впереди, отставляя посох, как отставляют зонт, и юбка цеплялась за всё, что росло из земли.

Быстро леди не ходят. В платье до земли, по корням, после ночи в ящике — тем более.

К вечеру лес стал реже, потянуло дымом, и справа, за деревьями, открылось поле.

Катарина остановилась, чтобы поправить перчатку и сказать Умберу, что до людей осталось немного, и в эту минуту увидела впереди, в сумерках, огни.

Огней было много. Они шли по полю вразнобой, качаясь, и под ними двигались люди — целая деревня, со светом в руках, — и шли они прямо на неё.

Глава 3. Некроманты только дурят

Люди.

Целое поле людей, и у каждого в руке огонь, и все идут к ней. Катарина взялась за перчатку и потянула её выше запястья, хотя тянуть было некуда.

Наконец-то.

У людей есть дома, лошади и дороги. Людям объясняют, что вышло недоразумение, и люди немедленно принимают его исправлять — так устроены приличные люди, а других она пока не встречала. Кроме Аурелей, разумеется.

— Умбер. Мешок в левую руку, — распорядилась она. — И встань на шаг позади. Нас будут разглядывать.

Разглядывать было что: юбка разорвана по шву, подол в глине, перчатки погибли обе, и ко всему она стояла посреди дороги с чужим посохом, как пастух.

Ничего. Спина. Подбородок.

Огни подошли ближе, и стало слышно, что они разговаривают.

— ...а я говорю, надо было ещё засветло!

— Цыц. Идите ровно.

Огни разошлись в стороны, обходя её справа и слева, и Катарина поняла две вещи сразу. Первая: это не за ней. Вторая: у них вилы.

Вилы, косы, топор на длинной ручке, колья, обструганные наспех, белым концом вверх. У передних фонари, у задних факелы, и всё это качалось, дышало и пахло дымом и овчиной.

Ай.

— Стой! — крикнули из-под огней.

— Стою, — ответила Катарина, потому что стояла.

Круг сомкнулся. Женщина в платке протолкалась вперёд и сунула ей фонарь прямо в лицо, так близко, что в стекле качнулся её собственный подбородок.

— Сударыня. — Катарина отвела фонарь двумя пальцами, как отводят чужую вилку. — Вы мне светите в глаза.

Женщина фонарь не убрала. Она посмотрела на платье, на глину, на посох, потом за её плечо и отшатнулась так, что фонарь мотнуло.

— Мертвяк!

Толпа шагнула назад вся разом и разом выставила вилы, и Катарина обнаружила, что стоит в пустом кругу, а в двух шагах от неё блестят четыре зуба навозных вил, направленные ей в живот.

Умбер шагнул вперёд.

Он не торопился и не шумел, он просто оказался между ней и вилами: маленький, по пояс ей, с подвязанной головой, в ливрее цветов дома.

— Умбер. Назад.

Он не двинулся.

— Умбер, — повторила Катарина и взяла его за плечо. — За меня. Будь любезен.

Плечо под ливреей было твёрдое, как ножка стула. Она переставила своего дворецкого, будто вазу, и вышла вперёд сама, и сделала это раньше, чем успела подумать.

А потом подумала: *Они же его сожгут.*

— Это мой дворецкий, — объявила она в огни. — Его зовут Умбер. Он служит нашему дому тридцать лет и ни разу никого не съел.

Парень с вилами держал их ровно и смотрел серьёзно.

— Он мертвяк.

— Он гoblin.

— Так тем более!

Помилуйте, сговорились они все, что ли.

— Стойте, где стоите, и не оборачивайтесь.

Голос был молодой, и «стойте» этим голосом говорят лошадям и детям. Огни раздались, и вперёд вышел человек со смоляным факелом.

Он был молодой, крепкий, светловолосый, с обветренным лицом и крестьянскими руками. Ряса подпоясана коротко, по-рабочему, на боку на цепочке — что-то медное, чего она никогда не видела вблизи и узнала только по звуку.

Церковное.

Папа говорил о церковных редко и коротко, как говорят о соседях, с которыми не ссорятся, но и в гости не зовут.

Человек с факелом поднял руку, и вилы опустились. Не все, но многие.

— Я Ансель, жрец Церкви Создателя, — представился он громко, всей улице. — Кто вы и откуда идёте?

Наконец-то.

Катарина взялась за юбку там, где та была почище, и присела ровно настолько, насколько приседают перед человеком, чьё имя слышали через головы шести мужиков с вилами.

И выпрямилась.

И ничего не сказала, потому что сказать было нечего: их не представили. Он назвал себя деревне, деревня держала колья, а третьего лица, которое произнесло бы «сударь, позвольте вам представить», тут не имелось совершенно.

Умбер, разумеется, молчит. Умбер у нас теперь красноречив, как комод.

— Я вас спрашиваю.

— Господин староста. — Катарина повернулась к пожилому в грубой куртке: он один во всей толпе стоял с непокрытой головой и держал шапку в руке. — Будьте любезны, объясните господину жрецу, что мы идём с той стороны и что ни малейшего вреда никому не желаем.

Пожилой открыл рот, закрыл и оглянулся на жреца.

— Так он... это... он слышит.

— Разумеется, слышит. Он в двух шагах.

— Так чего ж я буду ему рассказывать, коли он слышит?

— Того, — терпеливо объяснила Катарина, — что нас с ним никто не представил.

Деревня переварила это молча.

В задних рядах шёпотом спросили: «Чего-чего?» — и так же шёпотом ответили: «Тихо ты. Городская».

Староста надел шапку, снял её снова и, кажется, на этом окончательно сдался.

— Гаспар я, — представился он ей, раз уж пошло такое дело. — Староста здешний. Хольм наша деревня, вон за полем. А это, барышня, отец Ансель из Ольмара. Его Клем привёл.

— Благодарю вас, господин Гаспар. Очень приятно.

Приятно ей было до самых пяток. Сердце, правда, не отозвалось — сердце в ней вообще больше ни на что не отзывалось, — зато отозвалось всё остальное: за весь день её впервые представили человеку по имени и по чину, и мир, который с утра вёл себя чудовищно, вдруг вспомнил, как принято.

— Катарина Тэрн.

Гаспар покивал.

— Не слышали.

— Дом Тэрн, — прибавила она. — Мы держим земли за горами, в двух днях от Керра.

— Не слышали, барышня. — Гаспар развёл руками с искренним сожалением. — Гор у нас отродясь не было.

Глушь.

Она приняла это спокойно: глушь — беда поправимая, глушь можно проехать, если найти карету.

— А вы, господин Гаспар? Куда вы идёте всей деревней на ночь глядя?

— На старое кладбище, барышня. — Гаспар вздохнул. — Жечь.

Катарина посмотрела на вилы, на колья, на фонари. За спинами у задних она только теперь разглядела вязанки хвороста и бочонок, который двое несли на палке.

— Кого жечь?

— Да кто там встал. Третью ночь ворочается, овец распугал, скотина к лесу не идёт. Ждали-ждали человека, а его всё нет и нет. Ну и пойдём сами, чего ждать.

Это я.

Третью ночь ворочается — это про меня. Они идут жечь меня.

— В таком случае мне нужна карета. Или телега, я не привередлива.

— Куда ж вам ехать-то на ночь глядя?

— В Керр.

Гаспар посмотрел на неё бережно, как смотрят на человека, у которого нехорошо с головой, но который хорошо одет.

— Барышня. Вы откуда идёте?

Вот тут ей и надо было соврать.

Врать Катарина не умела.

Не из добродетели — добродетель тут была ни при чём. Дома врать было незачем и некому: папе она рассказывала всё сама, Ирис читала по лицу, а госпожа Клотильда на всякую неправду отвечала одним: «Дитя моё, посмотрите на меня». К двадцати одному году у неё был богатейший опыт молчания и никакого опыта вранья.

А сказать правду было нельзя.

Правда была такая. Она вылезла из могилы на старом кладбище, куда эти люди как раз и шли с вилами. Мертвяк с мешком — её дворецкий. А человек, которого они ждали, лежит в её собственном гробу. Даже в её изложении это звучало неважно. В изложении женщины с фонарём — много хуже.

Хорошо. Что-нибудь простое.

— Мы едем из Керра.

— Едете, — повторил Гаспар.

— Ехали.

— На чём?

— В карете.

— А карета где?

Действительно.

— Карета осталась. — Катарина показала посохом куда-то за спину. — Позади. Немного позади.

— Барышня. — Гаспар глядел на неё теперь очень внимательно. — Вы ж только что сказали, что вам в Керр надобно.

— Надобно.

— Так вы туда едете или оттуда?

— И туда, и оттуда.

Парень с вилами переступил с ноги на ногу.

— Это как же?

— Кругом, — объяснила Катарина.

Кругом. Я сказала «кругом».

Она услышала себя со стороны, и дело было плохо. Умбер рядом стоял прямее обыкновенного, и неодобрение шло от него такое ровное и непроницаемое, что его, кажется, чувствовали даже вилы.

Не смотри на меня.

— Так вы с дороги шли? — подал голос кто-то сзади. — Так дорога-то вон где.

— А она тропой шла.

Клем стоял чуть в стороне ото всех, невысокий, в шапке до бровей, и глядел в землю у её ног.

— Я её видел. С просеки. Она с погоста шла, и этот с ней.

Огни качнулись. Вилы, которые было опустили, поднялись обратно.

— Тропа-то оттуда одна, — тихо прибавил Клем в землю.

Вот теперь Катарине стало страшно.

Страх вышел странный. Ни горла, ни холода в животе: всё это, оказывается, делало сердце, а сердце больше ничего не делало. Она очень ясно видела, что сейчас может случиться, и была с этим совсем одна, без всякой помощи изнутри.

Пальцы у неё были ледяные. Впрочем, с утра они такие всегда.

Хворост стоял в десяти шагах, за спинами. Вязанки так и не поставили на землю.

— Я была на кладбище.

В толпе кто-то втянул воздух.

— Я упала. В яму, — прибавила она, потому что это тоже была правда. Правды становилось всё больше, а помогала она всё меньше.

— В какую?

— В открытую, — ответила Катарина после паузы.

— Их там семь десятков, барышня, — с уважением напомнил Гаспар. — И все закрытые.

Госпожа Клотильда, скажите что-нибудь.

Госпожа Клотильда не ответила ничего: правила на этот случай у неё не было. Девица в её правилах не объясняла мужикам с вилами, в какую именно могилу она упала.

— Я вам всё объясню, но не здесь и не так. Это разговор, который ведут сидя.

— Ты чего с ней разговариваешь? Ты глянь на неё. Она в земле вся.

— Это, сударыня, глина.

— А рука?

Женщина взяла её за руку раньше, чем Катарина успела сообразить, что происходит: крепко, обеими своими — тёплыми, шершавыми, пахнущими печкой, — наклонилась и прижалась к её перчатке губами.

Катарина замерла.

Так руку девице не целуют. Тем более в перчатке. И уж совсем — в перчатке, побывавшей в могиле. Всё это она успела подумать и даже набрать воздуха, чтобы возразить.

Возразить она не успела.

— Ледяная! — Женщина отпустила руку и попятилась. — Люди добрые, у ней рука ледяная!

Ну вот.

— Некромантка, — объяснили в задних рядах. — Они все такие.

Тишина продержалась столько, сколько нужно, чтобы шесть человек переглянулись.

— Так вы, барышня, от мастера? — Гаспар шагнул вперёд, и шапка у него опять оказалась в руке. — Из Ольмара?

Катарина набрала воздух для ответа.

И не ответила.

«Нет» здесь означало вилы. «Да» было бы враньём, а врать она, как выяснилось за последние две минуты, не умела совсем. Оставалось третье — то, чему её учили с семи лет и в чём ей не было равных.

Она промолчала.

Она промолчала красиво: чуть наклонив голову, с тем выражением, с каким за столом пропускают вопрос, на который дама отвечать не обязана. Посох она при этом переставила поудобнее, обеими руками, а книгу прижала к груди переплётom наружу.

Деревня посмотрела на посох. Деревня посмотрела на книгу.

— Ох ты ж, — выдохнул кто-то.

— Я ж говорил, придут!

— Гаспар, гляди, у ней и книга!

— Да вижу я, что книга!

Я не сказала ни одного слова неправды, — отметила Катарина, и от этого ей стало почти хорошо.

— Вы её, барышня, простите. — Гаспар кивнул на женщину с фонарём. — Мы тут три дня как на иголках. Вас, стало быть, в Ольмаре и послали?

Она опять промолчала.

Второй раз дался хуже. В первый она молчала, потому что не знала, что сказать. Во второй — потому что знала и не говорила, а это совсем другое дело, и гувернантка где-то там, в глубине, поджала губы.

— Довольно.

Жрец всё это время стоял с факелом и слушал — не как слушают чужой разговор, а как смотрят на работу, которую делают неправильно.

— Она не ответила ни на один ваш вопрос. — Жрец повернулся к Гаспару. — Вы заметили? Ни на один. Вы спросили — она промолчала. Вы сами за неё договорили, и она опять промолчала.

— Дык посох же.

— Посох можно срезать в лесу.

Он повернулся к ней. Огонь в его руке шипел и капал смолой, и над пламенем дрожало сухое тепло: видно было, что оно есть. На своём лице она его не чувствовала.

Она украдкой поднесла ладонь ближе.

Ничего. Совсем ничего, как от нарисованного огня.

Так.

Она убрала руку и сложила обе перед собой.

— Я скажу вам, кто она. — Он говорил не ей, а всем, и злости в голосе не было ни капли, отчего слушать его было ещё неприятнее. — Она идёт с погоста ночью. Она в земле по самый ворот. Она молчит, когда её спрашивают. И у неё палка и книга, и завтра она возьмёт с вас курицу за то, что помашет палкой над вашими могилами, и уйдёт, и мертвец ваш как ходил, так и будет ходить. Некроманты только дураят людей. Всегда дурили.

Толпа загудела, и гул был нехороший.

Он ведь не злится. Катарина удивилась. *Он просто уверен.*

Уверенные ей попадались: леди Гортензия была уверена, что у них дома едят человечину, и ужин всё равно состоялся. Только леди Гортензия держала перчатку, а этот держал факел, и позади него стояла деревня.

— Господин Гаспар. Передайте господину жрецу, что палкой я не машу.

Дальше говорили про неё, при ней и через её голову, как говорят о погоде и о телеге.

— Так пущай идёт с нами.

— И пущай покажет.

— Отец Ансель, а если она правда от мастера?

— Тогда пусть она сделает это при всех, и я первый попрошу у неё прощения.

Деревня нашла, что справедливо. Деревне вообще ужасно понравилось, что теперь у них есть и жрец, и некромантка: не выйдет у одного — выйдет у другого, а вил и факелов хватит на любой исход.

— Значит, так, барышня. — Гаспар опять снял шапку: шапка у него снималась перед каждым важным сообщением. — Мы вас проводим.

— Куда?

— На погост. Тут недалече, часа полтора ходу.

— Благодарю вас. — Катарина наклонила голову. — Я была там сегодня. Дважды. Я предпочту избу.

Вилы не двинулись. Никто ими даже не шевельнул. Они просто стояли слева, справа и немножко сзади, и от этого воздух сделался плотный, как в тесной прихожей.

Ах вот как.

— Дело недолгое, — ласково пообещал Гаспар. — Вы там пошепчете, что у вас положено, а мы поглядим. А потом уж и в избу. И покормим.

— Я на ночь не ем.

— И то дело.

Да как вы смеете.

Это она подумала, глядя в его доброе морщинистое лицо. Сказала она другое:

— С вашего позволения, я хотела бы сначала распорядиться о телеге.

— Утром, барышня. Всё утром.

Она посмотрела на вилы. Вилы смотрели на неё.

«Леди не ходят на кладбище ночью».

А днём, стало быть, можно.

Она перебрала всё, что у неё было: назвать имя (не слышали), потребовать хозяина дома (хозяин стоял перед ней с шапкой в руке), заплатить (нечем), уйти (кругом люди с огнём), заплакать (тоже нечем). Оставалось одно — то, что выручало дома, когда к столу подавали не то, а переделывать было поздно.

Оставалось согласиться первой.

— Хорошо. Мы идём. Но пойдём по-людски, а не гурьбой. Господин Гаспар, вы рядом со мной. Господину жрецу скажите, чтобы шёл впереди, у него огонь. Женщины и дети в середине. Те, у кого вилы, позади, и держите их, будьте любезны, зубьями к земле, иначе кто-нибудь оступится и проткнёт соседа.

Деревня посмотрела на неё.

И — построилась.

Не сразу и не очень ровно, с толкотнёй и с «да куда ты прёшь», но построилась и пошла: впереди огонь, за огнём она, по бокам фонари, сзади вилы зубьями вниз.

Так.

Ей стало спокойнее. Когда люди идут в порядке, с ними уже можно разговаривать.

Ночь была ясная, тёплая и до неприличия красивая.

Над полем стояли звёзды, каких из её окна не было видно никогда, потому что мешали яблони. Трава по обе стороны тропы шуршала и пахла. Впереди качался факел, и от него на спины людей ложились большие мягкие тени.

Пришлось напомнить себе, что её ведут под вилами и радоваться нечему.

Помогло ненадолго.

— Барышня, а вы не сердчайте, — попросил Гаспар сбоку. — Мы люди тёмные. У нас тут третью неделю такое.

— Какое?

— Да встают. — Он махнул рукой в темноту. — То у Вейде встал, то у нас. Ходят да пакостят: людей пугают, скотину гоняют. Бабы к колодцу поодиночке не ходят.

— И часто у вас так?

— Отродясь не было. Дед сказывал, при нём раз было. Так то дед.

Коза шла за Умбером.

Катарина заметила её не сразу: та вынырнула из-под чьих-то ног, обошла двух баб и пристроилась Умберу в ногу. Умбер шёл с мешком и не оборачивался. Коза смотрела на него снизу вверх.

— Это Мадам, — с гордостью объявил маленький седой старичок, которого подтолкнули вперёд. — Она к мертвякам привычная.

— К мертвякам?

— Так я пастух. Я их первый и услышал.

Пастух. Тот самый.

— Расскажите. — И это она сказала совершенно искренне.

Старичок расцвёл: за три дня он рассказывал это раз тридцать и готов был ещё столько же.

— Гоню я их вечером мимо погоста. И слышу — ворочается. Прямо в земле, под дёрном. Я ухо приложил — а она там ходит.

— Она?

— Ну, оно, — поправился пастух. — Мы ж не видали кто. Третью ночь ворочается. Овцы упёрлись, ни в какую. Я, барышня, овце верю больше, чем себе.

Катарина слушала свою могилу в чужом изложении, и занятие это оказалось удивительное. Вышло, что она ворочалась три ночи, что её слышали и что она распугала овец.

Три ночи.

К себе это не примерялось никак: она легла спать после чашки липового цвета, а проснулась сегодня утром, и между этим не было ничего.

Старик тоже говорил про три ночи. Ему наврали в деревне, деревне приврал пастух, а пастуху овцы.

Овцы ввали особенно нагло.

— А в Ольмар вы посылали? — спросила она.

— Посылали, — угрюмо ответил кто-то сзади.

Клем шёл предпоследним и по-прежнему смотрел себе под ноги.

— Я и ездил. Три дня туда, три обратно. Нашёл, где у них сидят. Сидит такой красивый, в кресле, и не встаёт. Я говорю: у нас, мол, беда. А он: хорошо, пришлём кого-нибудь. И всё.

— И что же?

— И ничего. Никого не прислали. — Клем помолчал. — Я обратно шёл, а отец Ансель у нас на дороге как раз. Он и говорит: чего вам ждать, пойдёмте сами сделаем.

— Некроманта ждать можно до самой зимы, — не оборачиваясь, отозвался жрец впереди. — А церковь придёт всегда, и с вас за это не возьмут ни курицы.

Катарина промолчала в третий раз за вечер, и на этот раз молчание вышло тугое, как перетянутый узел.

Прислали. Вам его прислали, господин жрец. Он шёл сюда пешком, с мешком и с книгой, и ноги у него уже не держали, и он умер на кладбище, не дойдя до вашей деревни, и я его похоронила. А вы идёте его жечь.

Она перехватила посох и пошла быстрее.

Глава 4. Для верности

До погоста оставалось с полчаса ходу, и Катарина решила потратить их с пользой.

— Господин Гаспар. Далеко ли отсюда до Керра?

— До чего?

— До Керра, — повторила Катарина. — Это город. Там государь.

— А. — Гаспар поскрёб под шапкой. — Не, барышня. Про такой не слышали. Мы дальше Эльзена и не ходим. Эльзен вон, два дня. А там мельник, тот бывалый: в городе был. Три раза.

— А город — это Ольмар?

— Ольмар, барышня. Он за Эльзенем, по той же дороге, ещё день, а то и полтора. Туда вон Клем и ездил.

Мельник.

Мельника она запомнила крепко. Впереди, за чёрной стеной леса, её ждало кладбище, на котором она провела сегодня самое ужасное утро в своей жизни и самые, если честно, содержательные полдня.

Ночью кладбище выглядело лучше, чем утром.

Утром было видно, что за ним никто не ходит: кресты вкось, берёзы где попало, трава по пояс. Ночью остались тёплые пятна фонарей, длинные тени и люди, которые вдруг заговорили вполголоса.

Её яма была третьей от края, и её нашли сразу.

— Вот она! — крикнул парень с вилами. — Свежая!

Свежую землю увидели раньше, чем она успела их отвести. Холмик был неровный, придавленный сверху ладонями — это она сама придавливала, — а рядом, у берёзы, лежали доски, одна к одной: всё, что осталось от её гроба.

Деревня столпилась вокруг и задышала.

— Разрыта.

— Так она ж и разрыта. Оттуда и вылезло.

— А закопал кто?

— Дык...

— Тихо все. — Пастух поднял руку.

Его пропустили вперёд с уважением. Старичок отдал кому-то шапку, встал на колени у самого края, лёг щекой на дёрн и приложил ухо к земле — так слушают, не бежит ли вода под полом.

Катарина следила за этим с интересом, какого сама от себя не ожидала. Её собственную могилу слушали при ней, ночью, тридцать человек, и никто, кроме неё, не находил в этом ничего особенного.

— Тихо, — объявил пастух наконец. — Лежит.

— А там? — Парень с вилами показал на соседний холмик.

Пастух переполз на два шага и приложил ухо снова. Слушал долго и добросовестно.

— И тут тихо, — сказал он. — Тут старый Ламберт. Он и живой-то молчал.

Жрец воткнул факел в землю у края ямы. Пламя пошло вбок, и тени на лицах поехали.

— Возьми лопату. — Жрец кивнул парню с вилами. — Разроем и посмотрим, кто там.

— Нет.

Катарина сказала это негромко и оказалась между факелом и холмиком раньше, чем успела подумать, что делает: два шага, юбка, посох поперёк — как держат зонт, когда на него опираются, а не когда им грозят.

Точно так же утром встал Умбер — между ней и стариком, собиравшимся её упокоить.

— В этой могиле лежит человек. Его звали Фольк. Он умер сегодня утром, вон на том камне, у него не стояли ноги. Я похоронила его сама.

Стало очень тихо. Где-то за берёзами в третий раз за день закричала птица.

— Так это... — Гаспар снял шапку. — Это ж не наш! Наши все дома.

— Он не ваш. Он шёл к вам.

— Мастер, что ли? — тонко спросил кто-то.

— Мастер. Которого вы ждали. Ему обещали курицу и хлеб.

Деревня молчала. Женщина с фонарём подтянула платок и стала смотреть в сторону. Клем снял шапку тоже, медленно, будто она была тяжёлая, — тот самый человек, который ездил за стариком и не привёз его, и теперь он это знал.

— Он умер посреди фразы, — прибавила она, потому что молчать было хуже. — Я обещала ему, что его больше никто не потревожит.

— Его никто и не тревожит.

Он стоял по ту сторону факела, и лицо у него было спокойное и терпеливое, как у человека, которому предстоит объяснить очевидное.

— Мы разроем и сожжём. Того, кто в яме, и вещи его, и тех, кто лежит рядом. Здесь встало — значит, здесь и жечь.

— Он мёртвый.

— Мёртвые тут все. В том и дело.

— Он умер сегодня утром, сударь. Он не вставал и не встанет. Он лежит, как положено, в гробу, который ему не по росту, под собственной шляпой, и всё, что ему причитается от людей, — это чтобы его оставили в покое.

— Всякий, кто лежит, лежит, — терпеливо ответил жрец, — пока не встанет.

Какой ужас.

Вчера лорд Аурель при всём столе назвал Бертольда существом — из брезгливости, а брезгливость дело поправимое: из неё выходят, поев супу. Этот говорил из порядка, и у него всё сходилось.

Катарина обошла факел, чтобы огонь не стоял между ними, и заговорила так вежливо, как её учили говорить в самых безнадежных случаях.

— Господин Гаспар.

— А?

— Передайте господину жрецу, что я даю слово. Та... то, что ворочалось здесь три ночи, больше не встанет и не потревожит вас никогда. Ни осенью, ни зимой, ни через год. Я ручаюсь за это, а моё слово стоит дороже вашей курицы.

Гаспар посмотрел на неё, посмотрел на жреца и обречённо повернулся к жрецу.

— Отец Ансель. Она говорит, слово даёт.

— Я слышал.

— И что?

— Слово, — жрец покачал головой, — можно дать любое.

Он поднял факел из земли.

— Пусть покажет. Здесь, при нас. Умеет — пусть сделает то, зачем её позвали. Не умеет — мы сделаем то, зачем пришли.

Деревня загудела одобрительно: стояли тут долго, а дома оставалась недоенная скотина.

Показать.

Катарина стояла над своей могилой с чужим посохом и думала о том, что показать ей нечего. Из этой книги она прочла сегодня три слова — вслух, над стариком, — и на третьем остановилась, потому что читать чужое над человеком, который сам это писал, нельзя.

— Хорошо.

Что «хорошо»?

— Умбер, свет сюда. Господа, отойдите на три шага и не разговаривайте.

Деревня отошла на три шага и замолчала. Это было самое удивительное за весь день: они послушались.

Катарина посмотрела на холмик.

— Сударь, — негромко попросила она, — прошу простить. Я приведу их в порядок и уйду, а вы лежите.

И в эту минуту из соседней могилы появилась костлявая рука, которая схватила её за щиколотку.

Пальцы сомкнулись на ноге поверх туфли. Больно не было: было крепко, ровно и деловито, будто её взяли за ногу и собирались за эту ногу куда-то вести.

Дальше она закричала.

Крик вышел короткий, но от души, а нога сама, без всякого её участия, брыкнула назад. Из-под дёрна вылезла вторая рука, упёрлась в траву, и из соседней могилы, разваливая её изнутри, стало подниматься что-то большое.

Оно поднялось до пояса и повернуло к ней лицо.

Лицо было наполовину сгнившее и окончательно потерявшее всякий приличный вид.

— Ай, — прибавила Катарина, уже тише.

И ударила его посохом по лбу.

Удар вышел хороший, сверху вниз и от плеча: так выбивают ковёр, когда в доме никого нет и очень хочется. Посох дёрнулся у неё в руках. Голова у мертвеца качнулась, пальцы на ноге разжались, и он сел обратно в свою яму, а потом лёг — ровно, лицом вверх, как ложатся в постель.

И больше не двигался.

На кладбище стояла полная, совершенная тишина.

Одна нога у неё была на весу, посох над головой, причёска набок.

Она опустила ногу. Опустила посох. Поправила причёску.

Постыдно вскрикнула. При тридцати свидетелях.

«Леди не вскрикивают».

Госпожа Клотильда, оно меня схватило за ногу.

«Тем более».

— Прошу простить, сударь, — обратилась Катарина в яму. — Вы застали меня врасплох.

Деревня взорвалась.

— Упокоила!

— Одним махом!

— Видали?! Видали, как она его?!

— Гляди, лежит! Лежит как миленький!

Они хлынули к яме разом, и Катарину оттёрли от края в секунду. Парень с вилами ткнул мертвеца в грудь — осторожно, будто пробовал, не горячо ли. Женщина стукнула его фонарём, и стекло погасло. Кто-то ударил колом. Пастух пнул сапогом, а Мадам, пользуясь случаем, боднула мертвеца с разбегу в бок.

— Господа! Господа, он уже лежит!

— Дык для верности!

— Для верности, барышня!

— Он молчал! — крикнул пастух из-за чужих спин, ни к кому не обращаясь. — Я слушал!

Он молчал, барышня!

— Он и живой-то молчал, — напомнили ему.

— Вот и я говорю!

Она отступила и встала прямо, положив обе руки на посох.

Останавливать их было бессмысленно, объяснять тем более. Дома, если гости желали что-нибудь разбить, им давали разбить это до конца, а потом подавали десерт.

Умбер дождался, пока они закончат, спустился в яму и всё поправил: сложил мертвецу руки, повернул голову ровно, стряхнул с груди землю, которую туда набросали. Потом выбрался и притоптал дёрн по краю двумя ногами, коротко, как притаптывают клумбу.

Деревня следила за этим с благоговением.

— Обряд, — прошептал кто-то.

— Заговаривает, — согласился пастух.

Он ровняет землю. Он всегда терпеть не мог, когда неровно.

Вслух она этого не сказала. Что делает прислуга, хозяйку не касается, а объяснять посторонним, чем занят твой дворецкий, и вовсе дурной тон.

Жрец стоял с факелом в трёх шагах — там, куда она его отправила.

Он опоздал ровно на столько, на сколько отошёл, и понимал это лучше всех. Кадило висело у него на цепи и не качалось.

Потом он всё-таки подошёл к яме и посветил.

Он смотрел долго, и не на мертвеца, а на посох у неё в руках: на стёртое место, где держали, на сучок, на окованный конец. Он высматривал в нём то, чего там не было, и не находил, и оттого делался всё мрачнее.

— Я не понимаю.

— Господин Гаспар, — начала Катарина.

— Не надо, — жрец поднял руку. — Я слышу. Я скажу в Ольмаре, и пусть мне объяснят там. Вы ударили его палкой.

— Посохом.

— И оно легло.

— Оно легло, — согласилась Катарина.

Объяснять ей было нечем. Она честно поискала объяснение и нашла очевидное: посохом по голове — и упокоился. Старик за всё утро много чего ей сказал, а того, что посохом бить нельзя, не сказал.

Значит, можно.

Знание было крепкое и добытое лично, и Катарина немедленно положила его к себе на полку — рядом с тем, что суп подают справа, а мёртвые лежат.

— Отец Ансель. — Гаспар надел шапку, и это, кажется, означало, что вопрос решён. — Копать не станем. Ни ту, ни эту. Мастера мы у себя помянем, как положено, а барышня слово дала.

Жрец посмотрел на старостину шапку, на яму, на деревню, которая стояла за старостой, и ничего не ответил.

— Отец Ансель! — сказали из темноты. — А прощенья?

— Чего?

— Дык он сам говорил! У околицы! «Пусть при всех сделает, а я первый прощенья попрошу».

— Говорил, — подтвердил Клем.

— Говорил, говорил! Мы все слышали!

Деревня повернулась к жрецу вся сразу, с тем весёлым и безжалостным вниманием, с каким смотрят, как человек лезет в холодную воду, раз уж сам вызвался.

Он и полез.

— Я сказал — и прошу, — выговорил он, глядя ей в лицо. — Я назвал вас обманщицей при этих людях. Вы сделали дело, а я нет. Простите меня, сударыня.

Он помолчал и прибавил, потому что иначе не умел:

— Но того, что вы делаете, я не понимаю. И покуда не пойму, буду считать, что это дурно.

Ах, вот как. Извинение с условием. В доме Тэрн за такое не приглашали вторично.

Но то были мысли. Сказала же она вот что:

— Господин Гаспар. Передайте господину жрецу, что извинения приняты и что я на него совершенно не в обиде.

Гаспар набрал воздуха, посмотрел на жреца, который стоял в двух шагах и всё прекрасно слышал, и махнул рукой.

— Она говорит, приняты.

Это была первая вещь за весь день, которая вышла у неё хорошо, и радоваться при всех было нельзя.

Обратно шли весело.

Шествие, которое она с таким трудом выстроила, рассыпалось на полпути: вилы несли на плече, как грабли, а женщина с фонарём рассказывала соседке, как оно вылезло и как барышня его — рраз! — и по лбу, и соседка ахала в третий раз с прежним удовольствием.

К избе старосты подошли за полночь.

Хозяйка встретила их разбуженная, в наброшенном платке и с таким лицом, будто ждала гостей с вечера. На стол явились хлеб, молоко в крынке и капуста, и вот тут начиналось самое трудное.

— Благодарю вас. Я не ужинаю.

— Дык вы с дороги.

— Именно поэтому.

— Огурчика?

— Благодарю, нет.

— Молочка?

— Нет.

— Медку?

Хлеб пах горячей коркой и сенями. Катарина сидела очень прямо и очень вежливо, и запах — это, оказывается, всё, что ей теперь доставалось. Если долго смотреть, можно было почти вспомнить.

Ничего. Зато не надо переодеваться к ужину.

С печи за ней внимательно наблюдал мальчик лет шести.

— А он у вас ест? — Мальчик показал на Умбера.

— Он поужинал.

— А когда?

— Мальчики о таком не спрашивают.

Мальчик подумал.

— А палка у вас волшебная?

— Нет. Палка деревянная.

Это произвело на него самое сильное впечатление за весь вечер.

Спать её положили в горнице, на постели, взбитой так высоко, что было неловко.

Она подождала, пока в доме стихнет, села к столу, придвинула огарок свечи и открыла книгу.

Книга оказалась не книгой.

Это была тетрадь: толстая, в коже, но писаная разными руками, с наставлениями по пунктам — что взять, что сказать, куда встать. На полях шли чужие пометки, мелкие и сердитые.

— «Не так», — прочла Катарина вслух. — «Сперва левой». «Врёт». «Не делать никогда».

Умбер стоял у двери и слушал с тем лицом, с каким слушают, как в столовой бьют посуду.

Кто-то вёл эту тетрадь до Фолька, кто-то до того, и каждый успел поспорить с предыдущим. Катарина читала полночи, как читают чужие письма: очень внимательно и с лёгким чувством, что этого не следует делать.

Она не поняла почти ничего. Про посох там не было ни строчки — ни что им можно, ни что нельзя, — и Катарина сочла это подтверждением.

Зато она нашла, что почерк у старика крупный, с наклоном вправо и с нажимом, и что буквы он выводил старательно, как человек, которого поздно учили писать и который этим тихо гордился. Читать его было всё равно что слушать, и ей было ужасно жаль, что слушать больше нечего.

В самом конце, на последних листах, шёл список.

Названия, по одному в строке, и против каждого — пометка тем же крупным почерком. Хольм. Один. Пастух слышал. Старое кладб.

Эльзен. Один, тихий.

Бреkk. Не заплатили.

Вейде. Кальде.

Она сидела над этим списком, пока свеча не начала оплывать.

Вот куда он шёл. Пять деревень, одна за другой, и первая из них — эта, где его ждали с курицей и не дождались. Пометки о том, что дело сделано, против Хольма не стояло, и поставить её было некому.

Катарина обмакнула бы перо, будь у неё перо, чернила и право писать в чужой тетради.

Сударь. Я закончила ваше дело в Хольме. Оно, правда, вышло не совсем так, как вы бы его сделали.

Она закрыла тетрадь и прижала сверху ладонью.

Ни одного из этих названий она не слышала в жизни. Ни одно не было Керром, ни одно не лежало за горами, и ни в одном её не ждали к свадьбе. Зато Эльзен стоял в двух днях пути, а в Эльзене был мельник, который трижды бывал в городе.

Значит, в Эльзен.

Утром её вышла провожать вся деревня.

Солнце стояло низкое и розовое, от колодца шёл пар, коровы у плетней смотрели, и Катарина, которая никогда в жизни не видела деревню в шесть утра, глядела по сторонам гораздо дольше, чем следовало бы даме с прямой спиной.

Пока она шла, к ней успели обратиться трижды.

Женщина с погасшим фонарём спросила, нельзя ли посмотреть корову: корова с весны смотрит нехорошо. Мужик в накинутом полушубке спросил, можно ли ставить баню на том месте, где стояла старая, или там теперь нельзя. Девочка лет десяти молча протянула ей сушёное яблоко и убежала.

— Корову посмотрю, — пообещала Катарина, потому что отказывать в такой день было немыслимо. — Баню ставьте. Яблоко благодарю, оно очень кстати.

Яблоко было ей ни к чему совершенно. Она отдала его Умберу, и Умбер понёс яблоко перед собой, двумя пальцами, в мешок не убрал и на ходу переложил ровнее.

Корову она посмотрела. Корова смотрела в ответ.

— Прекрасная корова, — сказала Катарина женщине с фонарём, потому что коров ей показывали впервые в жизни и ничего другого о корове сказать было нельзя. — Держите её в тепле.

Женщина просияла так, будто ей назначили лекарство.

Гаспар ждал у ворот, в чистой рубахе, со снятой шапкой и с курицей. Курица была рыжая, крупная, обиженная на весь свет, и он держал её за ноги головой вниз.

— От общества, — торжественно объявил Гаспар. — За труды. Чем богаты.

Курица.

Вчера за неё обещали курицу, сегодня за неё дали курицу, и это была, если вдуматься, всё та же самая курица.

— Благодарю вас, господин Гаспар. Вы очень любезны. Умбер, прими.

Умбер принял курицу и взял её на руку так, как берут мокрый плащ.

— Вы уж простите, барышня. — Гаспар помял шапку. — Настоящему-то некроманту мы бы телегу дали, до Эльзена довели бы. Да мужики не повезут. Они мертвяка вашего боятся.

Настоящему.

Катарина наклонила голову ровно настолько, чтобы никто не заметил, что она это услышала.

— Ничего. Мы пройдемся.

«Леди не ходят пешком».

Я знаю.

Она знала это твердо. Леди не ходят пешком, леди ездят. Значит, нужна карета, на карету нужны деньги, а деньги в этих местах, судя по всему, ходят в перьях.

Сколько кур может стоять достойная карета, Катарина не знала. Но всякая карета с чего-то начинается, и эта начиналась с рыжей.

Жрец ждал у поворота, пока с прощаниями будет покончено: мешок за плечами, факел погашен и завернут в холстину, кадило подвязано, чтобы не звякало на ходу. Уходил он по той же дороге, по которой пришёл, — на Эльзен и дальше.

— Барышня. — Гаспар наклонился к ней вполголоса. — Он вам сказать чего-то хочет.

— Господин Гаспар, — вздохнула Катарина, — мы это уже обсуждали.

Староста обречённо повернулся к жрецу.

— Отец Ансель. Она говорит, вы ей сказать хотите.

— Я скажу в Ольмаре. Всё, что здесь видел. Пусть мне объяснят, как поднятый ложится от палки. Я этого не понимаю и в это не верю, а начальство моё умнее меня.

— Он говорит... — начал Гаспар.

— Я слышу.

— Она вас слышит.

— И вот что ещё. — Жрец поправил лямку мешка и первый раз за всё утро посмотрел ей прямо в лицо. — Здесь я пришёл вторым. В следующей деревне буду первым.

Он поклонился деревне, не ей, и пошёл.

Катарина смотрела ему вслед, и в ней поднималось то самое, очень тихое и очень ровное, от чего в доме Тэрн людям переставали отвечать на письма.

Передайте господину жрецу, что мы не торопимся.

Она этого не сказала. Она пожелала Гаспару доброго урожая, поблагодарила хозяйку за постель, на которой не спала, и вышла на дорогу — с дворецким, курицей и чужой тетрадью, в платье, которое ещё предстояло зашить.

Шагов через сто она всё-таки оглянулась.

— Умбер. Он идёт в Ольмар. — Катарина переложила посох в другую руку. — А Ольмар, если я верно поняла старосту, стоит за Эльзеном. По той же дороге.

Умбер посмотрел на неё поверх курицы.

— Вот именно. Нам с ним по пути, и первым он будет в Эльзене.

Дорога впереди уходила в поле, и на дороге, далеко, ещё виднелась серая спина с мешком.

— Разумеется, я собираюсь его обогнать, — сказала Катарина. — Леди не бегают. Но выходят раньше.

Глава 5. Аааааа

До свадьбы оставалось меньше недели, и Катарина шла так, как леди не ходят.

Широко. Подол в кулаке, посох в другой руке, и от Хольма она ни разу не присела. Дорога была сухая, пустая и вела в поле, а поле — в лес, а лес, если верить старосте, в Эльзен, где живёт мельник, который трижды бывал в городе.

Но остановки она всё-таки себе позволяла. Иногда.

— Умбер. Встань вон там.

Умбер встал вон там: с мешком за плечом, с рыжей курицей под мышкой и с сушёным яблоком в двух пальцах, потому что в мешок он яблоко так и не убрал.

— Ты лорд Аурель. Ты стоишь у колонны, потому что у колонны всегда стоят те, кого должны заметить, и делаешь вид, что беседуешь. Я вхожу.

Она вошла. Зала была шириной в дорогу и длиной до опушки, государь сидел где-то за берёзами, а половину придворных составляла курица. Катарина прошла до Умбера ровно столько шагов, сколько нужно, чтобы её успели разглядеть, и остановилась на полшага ближе, чем одобрили бы приличия.

— Вот здесь я останавливаюсь. И говорю: «Лорд Аурель. Какая радость. Я так боялась, что не успею».

Умбер смотрел.

— Не «боялась пропасть». Это было бы грубо. «Не успею» гораздо хуже, потому что вежливо. Кланяйся.

Умбер поклонился.

Нет. Он поклонится хуже.

— Хуже, Умбер. Он всю ночь не спал и всю ночь думал, что я не приеду. Ещё раз.

Умбер поклонился ещё раз, ничуть не изменившись в лице, и всё-таки так, что стало видно: этот человек всю ночь не спал.

Вот.

— Благодарю. Идём.

Она подхватила подол, и настроение у неё сделалось превосходное. Пусть в Керре её никто не ждёт. Пусть платье в глине и разошлось по шву, а вместо кареты курица. Войти в залу можно и пешком, было бы вовремя.

Тут дорога вильнула, лес раздался, и впереди, шагах в трёхстах, показалась спина.

Спина шла размеренно, несла мешок и была подпоясана коротко, по-рабочему.

Катарина прибавила шаг.

До Керра не близко, — объяснила она себе. А выехать надо было ещё позавчера.

Догнали его на прямом куске, где не свернуть и не сделать вида, будто не заметил.

Ничего я ему не скажу. Ни единого слова.

Их не представили, и с утра по этой части ничего не переменилось.

Он извинился. Извинение — не знакомство.

Расстояние сокращалось. Стал слышен шаг, потом дыхание, потом под холстиной глухо звякнуло кадило. Он оглянулся — и приготовился: поправил лямку, развернул плечи и сделал лицо человека, которому сейчас предстоит объясняться и который заранее не намерен уступать.

Я этого не видела.

Катарина прошла мимо — так, как проходят по зале: подбородок, плечи, ровный шаг, взгляд немного выше того, на что смотришь. Юбку она при этом придержала, чтобы не задеть, потому что задеть было бы невежливо.

— Сударыня.

Нет.

— Я хотел бы...

Нет, сударь. Нас не представили, и я вас не слышу.

Она отошла уже шагов на десять, когда сообразила, что дело так оставлять нельзя: человек всё-таки поздоровался.

— Умбер.

Умбер поравнялся.

— Пожелай господину жрецу доброго пути.

Умбер повернулся к господину жрецу и молча пожелал ему доброго пути. Сзади стало тихо.

Так молчит гость, который приготовил речь, а все уже перешли в столовую.

Шагов через сорок она обернулась.

Проверить, не отстал ли Умбер.

Умбер шёл рядом. Отставать ему было некуда, курице тем более. Жрец стоял на дороге и смотрел им вслед, и с такого расстояния лицо у него было светлым пятном над рясой.

Превосходно, — сказала себе Катарина и пошла быстрее. До Керра не близко.

Лес по левую руку подступил к самой дороге, и в орешнике кто-то был. Умбер остановился. Дома он так вставал в дверях, когда в столовой оказывался человек, которого не звали. Ростом он был ей по пояс, голова в белом платке, и в зелёной ливрее дома Тэрн он смотрелся на этой дороге примерно как супница в стогу.

— Что там?

Куст ответил.

Он сказал «ой» — тихо, придушенно и очень испуганно, и после этого затрепал весь сразу.

Из орешника вылетела девица.

Она вылетела боком, зацепилась подолом, рванула, оставила на ветке половину репьев и всё-таки выбралась на дорогу: маленькая, растрёпанная, с косой через плечо и с посохом наперевес. Посох был обвязан лентами. Лент было три: красная, синяя и одна, которая когда-то была белой.

— Именем! — выкрикнула девица. — Именем и... властью! Ложись обратно!

Дальше пошло быстро и неразборчиво. Она выкрикивала слова, которых Катарина не знала, выкрикивала их подряд, без пауз, будто боялась, что если остановится, то забудет, и при этом шла на Умбера.

Она идёт на Умбера.

Посох поднялся и пошёл сверху вниз. Умбер принял его на предплечье — той рукой, в которой не было курицы, — и остановил в воздухе, и дальше ничего не происходило вовсе. Девица тянула посох к себе. Умбер держал. И что, спрашивается, делают с особой, которая бьёт чужого дворецкого, никому не будучи представлена? Курица у него под мышкой смотрела на девицу с крайним неодобрением.

— Сударыня!

Девица тянула.

— Сударыня, вы бьёте моего дворецкого!

«Леди не вмешиваются в чужую драку».

Какая же она чужая? Это мой дворецкий.

Катарина взяла посох поперёк и потянула на себя, и девица наконец подняла на неё глаза.

— Барышня, — зашептала она, — барышня, отойдите. Он мертвяк.

— Он гоблин.

— Ничего подобного! Гоблинов уже лет сто как извели, а это мертвяк! Я мертвечину чую, у меня на это нос! Отойдите, он вас...

— За тридцать лет, — отдельно проговорила Катарина, — он не позволил себе ничего подобного.

Девушка покосилась на Умбера. Умбер ответил ей взглядом, от которого дома переставали шуметь. Посох он всё ещё держал — терпеливо, будто чужую трость в передней, пока не решено, останется гость или нет.

— Так он же мёртвый, — уже жалобнее возразила девушка.

— Мёртвый.

— Ну вот.

— И что?

Ответа на это у девушки не нашлось, и она сделала единственное, что ей оставалось: принялась читать сначала, глядя Умберу в лоб.

Умбер стоял.

— Не идёт, — растерянно сообщила она.

— Он и не собирается. Он занят.

Девушка встряхнула посох, будто в нём что-то могло отсыреть. Потом тянуть перестала и посмотрела на Умбера уже иначе.

— Значит, всё-таки гоблин. Я их только на картинке видела. Я думала, их нигде и не осталось.

Извели. Надо же.

В доме Тэрн об этом никто не знал, и Умбер тоже. Катарина решила ему не говорить: расстроится.

Она пыталась успокоить моего дворецкого прямо у меня на глазах. Без представления. На дороге.

Возмущаться следовало немедленно и очень строго, и Катарина для этого даже выпрямилась.

А потом ей стало ужасно смешно.

— Отдай ей посох, — велела она.

Умбер отпустил. Девушка вытерла ладони о подол, перехватила посох поудобнее и посмотрела на него ещё раз — уже без посоха между ними.

— Я иду, а навстречу вы. — Она шмыгнула. — Барышня, думаю, а при барышне мертвяк. Ну и решила: сейчас я его сама упокою. А мастер узнает и скажет: вот, Лотти, можешь же, когда захочешь.

— Какой мастер?

— Мастер Фольк!

Тут она спохватилась, что не представилась, и присела — так приседают горничные, которых учили в спешке.

— Лотти. Я его ученица. Ну, буду. Я к нему иду.

Она оглянулась на дорогу, потом снова на Катарину.

— А вы кто?

— Умбер. Представь меня.

Умбер передал курицу из правой руки в левую, шагнул вперёд и поклонился Лотти: коротко — ровно настолько, насколько кланяются незнакомым девушкам на просёлке.

Лотти испугалась и поклонилась в ответ.

Умбер выпрямился, повёл рукой в сторону хозяйки и поклонился снова, уже иначе, — так, чтобы всякому стало ясно, кто здесь госпожа, даже если госпожа стоит на просёлке в рваном платье.

Лотти поклонилась ещё раз. Ниже.

— Довольно, — сказала Катарина, потому что это могло длиться до вечера. — Меня зовут Катарина Тэрн.

Лотти застыла с открытым ртом.

— Ой. Ой, так это вы?! Мне же про вас мужики на дороге сказали — идёт, мол, из Хольма госпожа некромантка, страшная сила! Ночью на погосте пятерых мертвяков одним махом сложила, а шестого взглядом сожгла!

— Одного, — поправила Катарина. — И не взглядом, а посохом.

— Ага! — Лотти закивала, и пятеро с шестым остались в её голове ровно там, где были.
— А чего он молчит?

— Потому что не говорит.

Это её полностью удовлетворило.

— А мастера Фолька вы не встречали?

Лотти спросила это на ходу, уже развернувшись и пристроившись сбоку, будто они шли вместе с самого утра.

— Он же сюда шёл. Он меня в Эльзене посадил: сиди, говорит, учи главу, — а сам на Хольм, на старое кладбище, там кто-то ворочается. Я три дня сидела!

Вот теперь.

Катарина остановилась.

Ну вот. Сейчас.

Увиливать она не умела, а другого способа у неё всё равно не было.

— Мастер Фольк умер. Вчера, до полудня, на старом кладбище за Хольмом. До деревни он не дошёл, и хоронила его я.

Лотти моргнула.

— Как это?

— Сидя. Он говорил со мной и на середине слова перестал.

Лотти стояла на дороге и смотрела мимо неё, куда-то в поле, и лицо у неё поехало сразу всё: брови, рот, подбородок. Катарина успела подумать, что сейчас будет плач, и приготовилась к плачу.

Плача не было.

— А я? — спросила Лотти. — А я тогда чья?

И закричала.

— Ааааа!

Крик пошёл вверх, набрал силу и встал на одной ноте, длинный и без единой щербины. В нём не было ни капли горя и ни капли страха. Так кричат, когда всё окончательно и бесповоротно пропало.

— Ааааа! Меня же выкинут!

Катарина отступила на шаг.

— Мастер Сильвен сказал: если, Лотти, и Фольк из тебя ничего не сделает, тогда всё! Тогда посох на стол и к тётке, гусей пасти! А он умер! Он же ничего не успел! Он даже не начал!

Тут курица не выдержала. Она выдралась у Умбера из-под локтя, ударила крыльями и пошла с дороги в траву — не бегом, а быстрым деловым шагом, головой вперёд, с видом особы, которая давно собиралась и наконец решилась.

— Умбер!

Умбер опустил мешок в пыль и двинулся за курицей. Он шёл за ней без всякой спешки, как ходят за гостем, который направился не в ту дверь. Курица прибавляла, Умбер прибавлял. Они обогнули куст, и куст на минуту скрыл обоих, и из-за куста донеслось короткое возмущённое «ко».

Лотти прекратила кричать и посмотрела туда.

— Она уйдёт, — сообщила она деловито, сунула свой посох Катарине, как суют зонтик в передней, и, продолжая всхлипывать, пошла заходить с другой стороны.

Ловили вдвоём. Умбер гнал, Лотти ловила, курица делала вид, что её тут нет, и Катарина стояла на дороге с двумя посохами и наблюдала, как её дворецкий и совершенно посторонняя девица загоняют её капитал в заросли крапивы.

Нет, вы только посмотрите.

И в эту самую минуту по дороге прошёл жрец.

Он шёл не медленнее и не быстрее прежнего и видел всё: ревущую в крапиве девицу с посохом, гоблина, загоняющего курицу, и даму с двумя посохами посреди дороги. У дамы было лицо, с каким принимают гостей в разорённой гостинной.

Он не сказал ни слова и не сбился с шага. Он только посмотрел на неё дольше, чем нужно, чтобы разглядеть, и пошёл дальше, на Эльзен, унося с собой всё, что здесь увидел.

Катарина проводила его до поворота.

Вот и всё, — сообщила она себе. Он ушёл вперёд, пока я стерегла курицу.

Поймала Лотти. Она села в траву, прижала курицу к животу обеими руками и вдруг заревела в неё, в перья, громко и по-детски, и курица это, к общему удивлению, снесла.

Катарина подошла и села рядом.

Садиться на дорогу в платье, которое и без того погибло, было уже не страшно. Она подобрала подол и села, и некоторое время они сидели рядом: девица с курицей и леди с двумя посохами.

А что говорят человеку, у которого умер мастер?

— Он говорил мне «дочка», — Катарина смотрела в поле. — Всё утро. Я думала, из вежливости.

Лотти всхлипнула.

— Он и меня так звал.

— Значит, оно ваше, — ответила Катарина. — Я вам его возвращаю.

Лотти вытерла лицо рукавом, размазав по щеке зелёный след от травы, и посмотрела на неё поверх курицы.

— Он строгий был?

— Он был вежливый. Он и умер на слове «не серчай».

— Ой, — тоненько выговорила Лотти и заревела снова.

Реветь она кончила так же внезапно, как начала.

— А вы его похоронили как положено? — Лотти шмыгнула в последний раз.

— В моей могиле. Она была свободна.

Лотти приняла это за фигуру речи.

— Хорошо, — вздохнула она и посадила курицу себе на колени. — А вы теперь куда?

— В Керр. Меня ждут к свадьбе. Моей.

— Ой! А это где?

— Это, — сказала Катарина после некоторой паузы, — очень хороший вопрос.

Где Керр, не знал никто. Деревенские кончались Эльзенем, тетрадь старика — пятью деревнями, а рядом в траве сидела девица, которая дошла сюда из Эльзена сама и по дороге не потерялась.

Ага.

— Лотти. Как вы смотрите на то, чтобы быть при мне?

— При вас?

— При мне.

Лотти задумалась так, что даже перестала шмыгать.

— А мне же всё равно при ком! — обрадовалась она наконец. — Мне же только чтоб при ком-нибудь. Никто ж не спрашивает, при каком мастере. А вы с посохом, и с господином гоблином, и про вас вон уже на дороге рассказывают...

— Меня в Хольме встречали с вилами.

— Так с вилами и встречаются! Значит, признали!

Лотти ссадила курицу, поднялась на колени и вцепилась Катарине в руку обеими своими — крепко, чтобы не успели отказать.

— Возьмите меня, а? Я тихая!

Ладонь у неё была горячая.

Катарина замерла.

Со вчерашнего утра её не касалось ничего тёплого. Она нарочно подносила руку к факелу, и факел не дал ей ничего. Брала крынку, только что снятую с печи, — крынка выходила никакая. А тут снаружи, сквозь перчатку, внутрь вошло тепло, живое, чужое и до того обыкновенное, что у неё перехватило бы горло, будь там чему перехватывать.

Ох.

— Жалованья не будет, — сказала она.

— А мне не надо!

— Разумеется, надо. Компаньонке полагается жалованье. Вашим будет стол.

Лотти оглядела курицу, потом мешок Умбера, и просияла так, будто её взяли ко двору.

— Я согласна!

— Обязанность у вас будет одна, и это главное. Вы меня представляете. Имя, дом, и ничего сверх этого.

— Представляю, — повторила Лотти. — Ага. Это я умею. Это как?

— Это так: «Госпожа Катарина Тэрн». Больше ничего.

Лотти сунула курицу подошедшему Умберу, набрала воздуха и торжественно объявила ему:

— Госпожа Катарина! Тэрн. Дом... — Лотти запнулась. — Дома я не знаю, но хороший. А в Хольме она мертвяка посохом упокоила. А это господин гоблин, он не говорит.

Умбер выслушал.

— Мы это отработаем, — пообещала Катарина. — А пока скажите мне вот что. Долго нам до Эльзена?

— Завтра будем, если не рассиживаться, — ответила Лотти сразу, не думая, как отвечают о том, что знают ногами. — Ночевать в лесу придётся, тут больше нигде. А в Эльзене на мельницу идите, не в избы: у мельника и сарай, и солома, и берёт он немного. Полкурицы возьмёт, а если хлеба дать, так и хлебом обойдётся, он жадный, но не очень.

Катарина остановилась. Часы, дорога, ночлег, цена и характер человека, которого она в глаза не видела. А в Хольме ей за всё утро сказали, что Эльзен «вон там», а мельник «бывалый».

Она знает, где ночевать. Я не знаю, где ночевать.

И выходит, что наняла я её вовсе не из жалости.

Думать так было ужасно приятно, и Катарина подумала так ещё раз.

— Прекрасно. Значит, к мельнику.

Полкурицы за солому.

Всё состояние дома Тэрн шло сейчас под мышкой у Умбера, было рыжим и предназначалось на карету. Карету Катарина не обсуждала даже сама с собой.

Ручей был мелкий, шага в три, с брода тянуло холодной водой и мятой, и на том берегу, на камне, сидел жрец. Сидел разувшись, поставив ногу в воду, и ел хлеб, отламывая от краюхи и глядя в воду. При дневном свете он оказался моложе, чем ночью при факелах: без огня в руке и без деревни за спиной на камне сидел просто светловолосый парень, стёрший ногу.

Рубаха под рясой была у него застирана до белизны, а ряса нет, и это Катарина отметила прежде, чем успела себе запретить. Дома таких брали в конюхи, и через год они женились на горничных.

Помилуйте.

Катарина ступила на брод, глядя перед собой. Она собиралась пройти этот брод так же, как нынче утром прошла мимо него самого: молча и не заметив. Умбер пошёл следом. Лотти пошла следом за Умбером, увидела хлеб и остановилась посреди воды.

Жрец поднял голову. Посмотрел на Катарину — коротко. На Лотти — дольше. И, не говоря ни слова, отломил половину и протянул.

— Ой! Спасибо!

Нет.

Катарина стояла на том берегу с прямой спиной и смотрела, как её собственная компаньонка, нанятая нынче утром, ест из рук человека, которому Катарину никто не представил. Сказать было нечего: на пустой дороге всякое слово слышно всем, и окликнуть Лотти значило заговорить с ним.

— А вы далеко идёте? — спросила Лотти с набитым ртом.

— В Эльзен. Оттуда в Ольмар.

— И мы в Эльзен! Мы вместе, значит, пойдём.

Мы не пойдём вместе.

— Она вон в Хольме, — Лотти показала хлебом на Катарину, — пятерых мертвяков одним махом сложила. А шестого взглядом сожгла.

Ох.

— Лотти.

— Чего?

— Мы это с вами уже обсуждали. — Катарина смотрела на Лотти и только на Лотти. — Не пятерых, а одного. И не махом, а посохом, сверху вниз. И не сожгла, а вернула на место: он поймал меня за щиколотку, чего ему никто не разрешал.

Лотти покивала с полным согласием, и пятеро со взглядом никуда из её головы не делись. Жрец смотрел в воду и жевал, и по лицу его нельзя было понять решительно ничего, а ведь он стоял там в трёх шагах и считал не хуже неё. Он дожевал, обулся и встал.

— Дитя, — сказал он Лотти. — Ты при ней?

— При ней! Со вчера. Ну, с сегодня.

— Тогда я тебе скажу одно, и ты это запомни. — Он забросил мешок за спину. — Я не знаю, что она делает. Я видел сам и не понял. Но всё, чего я не понимаю, до сих пор кончалось скверно, и кончалось оно не на тех, кто это делает, а на тех, кто рядом.

Он поклонился Лотти, кивнул куда-то мимо Катарины и пошёл. И пошёл быстро, будто и не сидел только что босиком на камне: нога у него была делом десятым, а день ещё весь впереди.

Катарина глядела ему вслед, и глядела долго. Потом поймала себя на этом.

Брод стоил мне четверти часа. А четверть часа при моём положении — непозволительная роскошь.

Так и есть.

Потом она перешла обратно на два шага, очень аккуратно наступила на след его сапога, вдавила и вернулась.

— Идём.

Часам к полудню облака сошли с неба совсем, и дорога нагрелась.

Катарине это было решительно всё равно. Умберу тоже. А Лотти перебралась на теневую сторону дороги и пошла под самыми кустами, собирая репы, которых на ней и так хватало на двоих.

Катарина подняла руку и подставила ладонь солнцу.

Держала долго. Неприлично долго. Солнце стояло в самой силе, перчатка была тёмная, у всякого она нагрелась бы до того, что пришлось бы снять.

Ничего.

И солнце тоже.

Огонь не греет, солнце не греет. Интересно, что ещё мне забыли сказать.

А девчонка, которая полчаса назад схватила её за руку, грела.

Восхитительно. Придётся возить Лотти с собой повсюду.

— Лотти, — позвала Катарина. — Я хочу знать одну вещь.

— Ага.

— Почему вы решили, что мой дворецкий мёртвый?

— Так он же пахнет.

— Чем?

Вместо ответа Лотти подошла к Умберу сбоку, нагнулась и понюхала его — коротко и по-хозяйски, как нюхают молоко, прежде чем ставить на стол. Умбер перенёс это, не повернув головы.

— Вот. Мёртвое пахнет сухой землёй. Погребом, только пустым, в котором уже год ничего не лежит. Оно не тухлое, вы не думайте, тухлое совсем отдельно.

Мою прислугу нюхают посреди дороги.

— И вы это различаете.

— Ага. У меня нос такой. Я с ним и родилась.

Дальше она шла молча, а потом вдруг остановилась, вернулась на два шага назад и понюхала уже её. Сделала это точно так же, по-хозяйски, снизу вверх, и Катарина не успела ни отойти, ни возмутиться, ни сообразить, сколько правил при этом нарушено разом, — а Лотти всё не разгибалась.

— Лотти.

— А от вас никак не пахнет.

— Что значит «никак»?

— Ну никак. Ничем. Глиной вот немножко и хлебом чуть-чуть, так это ж на вас, а не от вас. — Лотти отступила и сделала виноватое лицо. — Люди так не умеют. От человека всегда чем-нибудь: печкой, коровой, дитём. А от вас — как от перчатки, которую ещё ни разу не надевали.

Катарина выждала приличную минуту и понюхала собственный рукав. Глина и немного хлеба, а дальше не было ничего.

Вторые сутки. И узнаю я об этом на дороге, от девицы, которая утром собиралась отпустить моего дворецкого.

Лотти шла рядом и молчала — непривычно долго для Лотти. Лицо у неё при этом двигалось: она хмурилась, поднимала брови и опять хмурилась.

— Ой. — Голос у неё сел. — Вы вставшая.

Это был не вопрос. Так говорят, когда наконец подобрали слово к тому, что стояло перед глазами всё утро. Отпираться Катарина не умела и потому не стала.

— Со вчерашнего утра. Я была бы очень признательна, если бы вы не кричали.

— А чего кричать-то? — Лотти даже удивилась. — Я мертвяков не боюсь. Я их жалею.

— Благодарю. Это ужасно приятно.

— А кто вас поднял?

— Вот это, — сказала Катарина, — я и намерена выяснить.

Но сначала посмотреть в глаза тому, кто меня в этот гроб уложил.

Лотти немедленно посмотрела на неё с восторгом, какого Катарина не видела к себе ни разу в жизни, включая тот вечер, когда ей доверили ужин.

— Так вы ж тогда сама себе и мастер, и работа!

Я, кажется, только что выросла в её глазах на целую голову. Странно, что для этого понадобилось умереть.

— Меня, стало быть, разберёт всякий, у кого есть нос.

— Не-е. — Лотти махнула рукой. — У людей носы никудашные, люди глазами смотрят.

— И что же увидят глаза?

— Да ничего не увидят. Барышня и барышня, платье только рваное...

Тут Лотти всё-таки пригляделась — впервые за всё утро всерьёз, — и лицо у неё вытянулось.

— Ой. А вы не дышите.

— Не дышу.

— Совсем?

— Совсем.

Полдня шла рядом и не заметила. Стало быть, и никто не заметит, пока не станет приглядываться.

— Лгать я не стану. — Катарина смотрела на дорогу. — Я вчера пробовала. Получилось весьма печально.

— Так врать и не надо! Врут словами. — Лотти пожала плечами. — Вы просто дышите.

Катарина обдумала это внимательно, как осматривают шов на свет, и шов держался.

— Дышите, — повторила Лотти и показала как: вдохнула и выдохнула, широко, чтобы было видно снаружи. — Вот. И через раз можно, никто ж не считает.

Катарина вдохнула. Делать это приходилось нарочно — так же нарочно, как держат спину и улыбаются тётушкам. Первый раз вышел ровно, и второй тоже, а на третьем она подумала про мельника, который трижды бывал в городе, и забыла.

— Опять, — вздохнула Лотти. — Ладно. Я буду напоминать. Вы не обижайтесь.

Дорога пошла под уклон, и стало видно далеко вперёд, до самого поворота у края леса.

Пусто. Ни человека, ни серой спины с мешком.

Он уже там.

Катарина прибавила шаг.

— А чего мы так летим-то? — поинтересовалась Лотти сзади.

— Мы не летим. Мы идём.

— А хотите, я его попрошу больше не вставать?

Катарина остановилась.

— Кого?

— Господина жреца. Он же вам мешает.

— Лотти. Он живой.

— Так это ж поправимо! Мы ведь некроманты, а некроманты...

— Мы не упокаиваем живых. Это невежливо.

— А если очень вежливо?

— Лотти.

— Молчу, — согласилась Лотти и подобрала с дороги палку, потому что палка была хорошая.

Катарина пошла дальше. Она шла и думала о том, как войдёт в залу. И об Аурелях, которые уже, надо полагать, придумали, что говорить в Керре, когда невеста не приедет. И о том лице, которое сделает лорд Аурель, когда невеста приедет.

Ради этого лица стоило идти быстро.

«Леди не бегают».

Я не бегу, госпожа Клотильда. Я спешу на свадьбу.

Подол всё-таки подхватила повыше.

Позади скакала, сбивалась и снова скакала Лотти, сбоку молча шёл Умбер с курицей, а впереди был поворот, за которым дорога уходила в лес и где никого уже не было.

Так что бежала Катарина совершенно напрасно.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.